

249

ГРАНИ

GRANI

Г
Р
А
Н
И

249

2014



Janvier – Mars

2014

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года
Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
Алла Ависова, **США**
Ирина Басова, **Франция**
Тамара Жирмунская, **Германия**
Зоя Калинина, **Франция**
Геннадий Николаев, **Германия**
Екатерина Труш, **США**

**Москва–Париж–Мюнхен–
Сан-Франциско**

Г Р А Н И

**МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL**

Год LXIX

№ 249

2014

СОДЕРЖАНИЕ

«Печально, как день из-под век облаков...» 5

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Леонид **ВЫШЕСЛАВСКИЙ**.

«Если Богом мне данное имя...»

К 100-летию со дня рождения 6

Геннадий **НИКОЛАЕВ**.

Федор Абрамов и другие 24

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Леонид **ВЫШЕСЛАВСКИЙ**.

«В гармонии небес, воды и суши...»

Карадагские монологи 41

Борис **ЕВСЕЕВ**.

Пламенеющий воздух. Главы из романа 56

Борис **ЗАБОРОВ**.

«Земную жизнь пройдя до половины...» 78

Рассказы. Птица. Случай или рок.

Однажды в Венеции. Русскоговорящая Дарья

Мария МОКЕЕВА. Пензанс	102
Анатолий ГОРЮШКИН. Колесо обозрения. <i>Литературное эссе</i>	112

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Галина ВАНЕЧКОВА. «Ты — как круг, полный и цельный...» <i>Мои встречи с Константином Родзевичем</i>	133
Алексей ХЕТАГУРОВ. Записки москвича	157

НАСЛЕДИЕ

Борис МАНСУРОВ. Неугасимый «тайный жар» Марины Цветаевой	192
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Евгения КУЛАКОВСКАЯ. Мировая душа эфира. <i>О новом романе Бориса Евсеева «Пламенеющий воздух»</i>	217
---	-----

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Гарри КАРОЛИНСКИЙ: «Я — как археолог, моя задача — восстановить эпоху...»	222
<i>Коротко об авторах</i>	233

Обложка художника Н. Мишаткина

*Эмблема — «Парус»
Художник И. Иогансон*

*Печально,
как день из-под век облаков,
глаза твои смотрят нередко.
Ты истомилась
томленьем веков,
устала
усталостью предков.
Мария!
Нам ведома тяжесть креста,
история всех нас пинала,
нас породнили
страданья Христа,
которого ты пленала.*

Леонид Вышеславский

Леонид Вышеславский

«Если Богом мне данное имя...»¹

Мне, наконец, стало ясно, что я уже, мягко говоря, человек немолодой... Достигнута такая высота, когда альпинисты говорят: выше — только небо!

Да, только небо с холодными звездами и моей маленькой «Вышеславией». А что это такое? Откуда взялась эта маленькая планета с этим названием?

Все началось со стихотворения, которое я написал во время войны, на украинском фронте.

Была осень. Шли бои в болотистой пойме словацкой речки. Все было залеплено грязью, но мы ей даже гордились, поскольку люди, выходящие нам навстречу, обнимали нас, целовали, дарили цветы. Вот тогда я и посвятил стихотворение одному пулеметчику, который двое суток пролежал среди болота, обеспечивая наше наступление:

*Да, неспроста у пулемёта
он глаз две ночи не смыкал
и неспроста среди болота
он под обстрелом пролежал,
ворвался в город на рассвете
и, завершая долгий бой,
он слёзы радости заметил*

¹ Текст выступления Л. Вышеславского на телевидении 9 апреля 1994 года. — Ред.

*в глазах у женщины чужой.
Прошёл по брёзнам переправы,
прополз по грязи под огнём,
и грязь в лучах солдатской славы
горит как золото на нём!*

Это стихотворение было напечатано в газете и я про него забыл... Совсем забыл. Вот и война закончилась. Вот уже и первый космонавт мира вернулся на Землю... Сияет апрельский день. Журналисты, окружившие Юрия Гагарина, спрашивают, любит ли он стихи? Да, отвечает он, — знаю даже наизусть одно, с которым выступал на вечере, будучи курсантом Оренбургского летного училища. Стих знаю, а вот имя автора забыл.

И Гагарин, по просьбе журналистов, продекламировал стихотворение, которое я только что прочитал. Пусть космонавт забыл имя автора, но, зато, автор узнал свой фронтовой стих, когда увидел его в книге Гагарина «Дорога в космос».

Через центральную газету я поблагодарил космонавта за внимание и послал на его имя рукопись моих «Звездных сонетов», которые тогда уже были написаны, вне зависимости от полета Гагарина, поскольку космическая тема меня привлекала с детства.

Через некоторое время эти сонеты вышли отдельной книгой с предисловием первого космонавта мира!

Стоит ли говорить, какая это была для меня радость! Более того: на мою книжку и предисловие к ней обратили внимание и ученые. Позже, астроном Крымской астрофизической обсерватории, кандидат физико-математических наук Николай Степанович Черных двадцать четвертого сентября тысяча девятьсот семьдесят девятого года открыл новую малую планету, астероид 2953, и назвал его именем «Вышеславия».

Это название было утверждено в Центре изучения малых планет в Смитсоновской обсерватории в США.

*Я и радуюсь, и смущаюсь,
и не верю, и верить хочу..
Вот уж, право, не думал, не чаял,
что подарок такой получу.
Если Богом мне данное имя
обитает средь звёздных огней,
значит там я с мечтами земными,
и с любовью земною моей.*

Следовательно, это планета моей жизни и именно в таком смысле я назвал свою новую, только что вышедшую, книгу «Вышеславия — планета поэта».

В ней новые стихотворения последних лет и те, про публикацию которых, до недавнего времени, нечего было и думать. Это тоже радость и я непроизвольно вспоминаю слова Нагиба Махфуза, этого, как его называют, «Диккенса каирских кофеен».

Когда его спросили, что он ощутил, узнав о присуждении ему Нобелевской премии, он ответил, что в его жизни были не менее счастливые дни, когда он смог печатать свои ранее запрещенные произведения.

Вот что значит для творца — свобода слова! Я ощутил великое счастье, когда получил Шевченковскую премию и премию Павло Тычины, но не менее счастлив сейчас, когда могу сказать все, что хочу и так как хочу, без так называемого «эзопового языка».

Вот, например, стихотворение, написанное мной в далеком пятьдесят втором году, «Невольничьи годы». Вспоминается Гезлев — давнее название Евпатории, где в ханские времена был большой невольничий рынок.

*Асфальт стал вязким от нагрева,
и зноем тягостным нагрет
оставшийся с времён Гезлева
остроконечный минарет.
Как будто здесь он по старинке
поставлен людям на беду,
и я к невольничьему рынку
по узкой улочке бреду.
Бреду и думаю невольно,
под крымским солнцем разомлев:*

«ЕСЛИ БОГОМ МНЕ ДАННОЕ ИМЯ...»

*кто я, по сути? Раб. Невольник.
Хоть и ушёл во тьму Гезлев.
Схожу к воде. Выхожу по трапу.
Свобода: катер, отдых, Крым!
Я так хитро запродан в рабство,
что даже... восхищаюсь им.*

Семь первых лет моей жизни прошли на окраине города Николаева, на берегу Ингула, возле церкви святой Марии Магдалины, настоятелем которой был мой дедушка Харлампий Платонов.

Потом, во время голода, он с семьей переехал к сыновьям в Харьков и, со временем, получил новый приход в деревянной церкви села Павлівка возле Богодухова на Слобожанщине. Вот где открылась для меня настоящая Украина!

*Это украинское село
полузанесённое песками
для меня в единый круг свело
ценности, возвращённые веками.
Это там передо мной возник
в блеске вишен, лент и губ девичьих
многострунный песенный язык —
истинная нежность и величье...*

Этот язык я изучал, играя с мальчишками на песчаных улицах Павлівки. Украинский язык — мой второй родной язык. Учился я там и некоторое время в школе, — она, построенная из огромных сосновых бревен, сохранилась и сейчас, а вот церкви давно нет. Она разрушена в клятые дни безбожья и «голодомора».

Как это ни странно, а точно такую же церковь можно увидеть сейчас в нашем киевском музее народной архитектуры Украины. Я люблю бывать там, и сердце мое бьется сильнее, потому что я вспоминаю свою родную Павлівку, где

*среди мазанок, облитых белизной,
в садах, где медом скапливался зной,
людей застал я — бедных, но счастливых.*

*Они извечный круг забот и дел
сверяли по движенью небосвода,
порой случалось бремя недорода,
но быт крестьянский всё же не скудел.*

*Весь долгий день — в работе непрерывной,
а после — за столом, в вечерней мгле —
сходились, и сияла на столе
расписанная миска со сметаной.*

*И все из миски брали, из одной,
и пирожок под ложку подставляли,
чтобы на скатерть капли не упали,
и всё дышало славной стариной.*

*Мудрейшая гадалка не могла бы
хоть чуточку им предсказать тогда,
какая надвигается беда,
как станут люди немощны и слабы.*

*Вставал рассвет обманчиво светло.
Кто мог представить что случится с ними,
что сталинскими станут крепостными
и с голоду опухнет их село?!*

*Кому такое вздуматься могло бы:
за срезанные в поле колоски
на Кольму, в Нарым, на Соловки
защлют, и не вернуться хлеборобы...*

*Грустит криница во дворе пустом,
подсолнух смотрит как-то виновато —
он тоже стал музейным экспонатом
с калиткой и калиновым кустом.*

*Что знаю я о прошлом? Только крохи.
Хожу, смотрю и думаю одно:
ужели нам осмыслить не дано
всю тайну злодеяния эпохи?*

Про свою Павливку я написал поэму «Сковородиновский круг» — сковородиновский потому, что как раз в этих местах

«ЕСЛИ БОГОМ МНЕ ДАННОЕ ИМЯ...»

путешествовал с посохом бессмертный поэт и философ Григорий Саввич Сковорода. Он похоронен там, в бывшем селе Пан-Ивановка...

*Я счастлив, что с этим селом по соседству
меня осенил поэтический дух,
что славный философ включил моё детство
в свой солнечный сквородиновский круг.*

По этому кругу, как по орбите, двигалась планета моей жизни. В кругу украинских писателей выросстал я, как поэт. Мне довелось еще застать ренессанс украинского искусства двадцатых годов.

Как бурлила интеллектуальная жизнь в Харькове — тогдашней столице Украины! Особенно в славноизвестном доме Блакитного, который был для нас, молодых поэтов, настоящим Лицеем. Оттуда все пачиналось. Там я нашел таких несравненных учителей, как Майк Йогансен, Владимир Сосюра, Николай Хвывекой, Николай Бажан, Павел Тычина, Леонид Первомайский. Там я воспитывался вместе с Иваном Калянником, моим однокашником, который потом погиб в двадцать семь лет в ГУЛаге, с Сергеем Борзенко, с Николаем Нагнибидой...

Все это было в Харькове. Не могу не сказать про моего отчима — Леонида Гавриловича Платонова, который преподавал зоологию в моей школе и возглавлял кафедру в Ветеринарном институте.

Это был человек больших знаний и морального величия. Он научил меня, вместе с моей мамой, любить и изучать родную природу. Под его влиянием я начал учиться на биологическом факультете, а окончил университет уже как филолог в Киеве.

Когда ж это было? А было это, говоря словами Анны Ахматовой, «когда улыбался только мёртвый, спокойствию рад». Что делалось в университете! Запомнилась Мирза Авакянц, армянка, профессор. Она читала курс истории Украины. Но читала не так, как было велено и ее, на наших глазах, прямо с кафедры, увели туда, откуда не возвращались.

Курс истории Украины

*Памяти профессора киевского
университета Мирзы Авакянца*

*Все сковано стужейю тридцать седьмого,
с Днепра не струится рассвет,
от страха не может и вымолвить слова
столичный университет.*

*Лишь старая женищина, мудрый историк
о времени давнем опять
читает, и правда словам её вторит,
о коей не велено знать.*

*Читает о днях Переяславской Рады,
от нас не скрывая ничуть,
что многие были с Богом не рады
на верность Москве присягнуть...*

*А в эти часы, завывая от злобы,
равняя с землёй этажи,
на город свои намечает сугробы
история, полная лжи.*

Но был и свет, который несли такие люди как Максим Рыльский, Николай Ушаков, Григорий Петников. Вспоминаю слова Максима Тадеевича, которые он сказал мне в самый разгар сталинского террора: «Трудно поэту найти себя, но не менее трудно найдя, не потерять себя». А в те времена было очень трудно не потерять себя во всех смыслах...

И вот я сейчас всматриваюсь в нашу жизнь. Она нелегка. Осмысление происходящего не просто. Пришла эра «нового мышления». Лично мне помогает ориентироваться в происходящем поэзия молодых. Художественная и интеллектуальная жизнь в Киеве сейчас бурлит, немного напоминая тот ренессанс культуры, о котором я уже говорил.

Говорят — нет бумаги, издательства почти не работают, а книги выходят! Парадокс! Рядом со старой «Радугой» выходят новые журналы — «Ковчег», «Коллегиум», «Самватас», «Ренессанс», «Византийский ангел», «Терра инкогнита», «Новый криг»; новые газеты.

Много новых свежих сил в поэзии. Есть много удивительно талантливых поэтов и поэтесс, о которых еще мало кто знает, но они, без сомнения, скоро станут известны. Море, словами Тычины, «хлюпнуло нові лави». И я слушаю новые голоса, учусь у молодежи, вспоминая выражение древних «Semper tironi!».

Я рад, что многие, наконец, повернулись к Богу, к вечным духовным ценностям. Немного времени остается до Пасхи — великого праздника Жизни, который приходится в этом году на Первое мая. Вот стихотворение про Того, кто по Своей воле сроднился с нами — людьми, разделил наши радости и страдания, а умерши, воистину Воскрес. Стихотворение про Того, кто родился ровно тысяча девятьсот девяносто четыре года тому назад:

Поэт

*Он шёл по совсем ещё юной земле,
ступни Его ног целовала дорога,
и души открытые в каждом селе
охотно Его принимали за Бога.*

*А Он был поэтом. Влюблённым. Земным.
И правил сердцами, влюблёнными в землю.
С улыбкой счастливой шли дети за ним,
шли женщины, собственной совести внемля.*

*Поэзия — вся! — с ним была заодно:
под кровлей, в пути, у морского причала
то воду она превращала в вино,
то крошками хлеба толпу насыщала.*

*Густое плетенье рыбачьих сетей,
канаты, мотыги, горшки, коромысла
до звёзд возносила рукою своей
и вещи светились от вещего смысла.*

*Поэзия даром давала сердцам,
чего не могли взять ни злато, ни сила,
перстами глаза отворяла слепцам,
больных исцеляла,
и мёртвых будила.*

Мария

У Нилі скупаное спить
 В пелюшках долі, під вербою,
 Дитяточко...
 Т. Шевченко. «Марія»

*Печально,
 как день из-под век облаков,
 глаза твои смотрят нередко.
 Ты истомилась
 томленьем веков,
 устала
 усталостью предков.
 Мария!
 Нам введена тяжесть креста,
 история всех нас тинала,
 нас породнили
 страданья Христа,
 которого ты пеленала.*

По слову апостола

Он упал на землю
 и услышал голос,
 говорящий ему:
 Савл, Савл! Что ты
 гонишь меня?
 Деяния, 9,4.

*Я шёл без дороги долиной ночной,
 мечтам и желаньям своим изменяя,
 дрогнули вдруг небеса надо мной
 и голос спросил:
 — Что ты гонишь меня?
 — Кто ты? — на землю упал я, как Савл.
 Голос ответил из темноты:
 — Любовь я, которой ты клялся сам,
 что же теперь меня гонишь ты?
 Встань и иди! Ты ничто без любви.*

«ЕСЛИ БОГОМ МНЕ ДАННОЕ ИМЯ...»

*С ней ты отыщешь дорогу опять,
с ней, — лишь по правде её позови, —
сможешь и горы передвигать...
И понял я по отошедшим годам,
что гнал её, сути своей вопреки.
Я нынче апостолу посох подам,
к Павлу подамся в ученики!
Живыми словами в посланьях своих
он поучает господ и рабов,
ни одного нету слова в них
насущнее, чем любовь.*

А вот молитва о маленьком моем родиче. Сейчас он уже подросток, а пять лет назад, когда я писал о нем, он был еще младенцем.

Молитва о младенце

Кириллу

*В палящем зное млеют липы,
ветвистый вяз притих, устал,
лишь духовые льются всхлипы
от Гнесиных на весь квартал.*

*В густом потоке звуков, красок
торопится поток людской,
и вновь колёсами колясок
расчерчен садик городской.*

*Черчу и я полоски эти,
и спит, моей душой храним,
в своей прогулочной карете
Младенец. Ангел. Херувим.*

*То под берёзу, то под иву,
то к вязу старому опять
везу его неторопливо,
чтоб чуткий сон не расплескать.*

*Не позволяя торопиться,
со мною рядом, в тень ветвей,
с цветочком маковым в петлице
идёт на цыпочках Морфей...*

*Спи, спи, мой Ангел, в свете раннем,
встречай высокую зарю, —
я с перехваченным дыханьем
молитву о тебе творю.*

*Молю Того, кто в полной мере
тобой продлил мое родство,
Того, в которого поверил
я до рожденья своего.*

*Слова, что мне когда-то, где-то
шептали матери уста,
я со страниц Его завета
брал, будто ягоды с куста.*

*Молю, чтоб ты не стал молиться
велениям Богов земных,
чтоб дней грядущих вереница
была счастливей дней моих.*

*Молю, чтоб ты в тревогах мира,
на торных тропах бытия
не сотворил себе кумира
и не обманут был, как я.*

*Измученная до предела
земля повержена во прах,
душа в безверье обмелела,
как море в высохших песках.*

*И цель, лежавшая в основе
декретов, песен и поэм,
так заскорузла в сгустках крови,
что не узнать её совсем.*

«ЕСЛИ БОГОМ МНЕ ДАННОЕ ИМЯ...»

*Молю, чтоб в этот смутный, зыбкий,
быть может, самый трудный час,
ты ободрил меня улыбкой
и от отчаяния спас.*

*Молю, чтобы обрёл ты силу,
доступную лишь молодым,
чтобы твоё рожденье было
и возрождением моим.*

*Молю, чтобы молитва эта
была с тобою и со мной, —
ты для меня светлее света,
и чище чистоты самой.*

*Молю, чтоб мог я без опаски
идти своим раздумьям в лад,
колёсами твоей коляски
расчерчивая старьёй сад.*

Вера и Любовь всегда рядом. Поэтому в новой книге про мою планету, то есть про мою жизнь, есть, естественно и то, что зовется лирикой.

Amores — II

*Жизнь человечества нелепа
без доброты и без тепла.
Как жаждет ласкового неба
земля, уставшая от зла!
Извёлся мир от стольких пыток,
что разум, кажется, погас,
и всё же нежности избыток
определяет что-то в нас.
Опять закат роняет краски
за потускневший окаём,
и мы опять на праздник ласки
с тобою сходимся вдвоём.
Мы только радость порешили
друг другу отдавать вполне,*

*и в поцелуях позабыли
задернуть штору на окне.
Берёзы под окном теснятся
и смотрят из наплывшей тьмы, —
деревьев можно не стесняться:
они естественны, как мы!*

Днепровские отмели

С. К.

*Можно всё позабыть на свете —
радость, беду,
но с тобой на отмели эти
я всегда в своих думах иду.
Куст ольховый волной подсвечен,
точно лампой копна волос, —
вот с чем облик твой
слит навечно,
вот с чем имя твоё сплелось.
Рыбья мелочь у ног пасётся
в мелкой воде,
время мы узнаем по Солнцу —
самой близкой к людям звезде.
В небе с этой звездой жгучей
почти наравне
возвышается Киев на круче,
как на волне.
Наподобие карнавала
полдень звонок, лучист, высок.
Здесь любовь моя существовала,
как звезда, как вода, как песок...
Я смотрю, как проносит воды
наша княжеская река,
и названия пароходов
читаю издалика.
Небо к вечеру дремлет сладко,
о причал плеча,
и сгущается в бронзовых складках
у Владимирова плеча.*

Букет

*Речной закат на нас смотрел в упор,
мы шли, во всем доверившись друг другу.
Дорогу эту вижу до сих пор
изогнутую весело по лугу.*

*Ты шла, густые травы теребя,
о чём-то постороннем говорила,
и незаметно для самой себя
букет из трав, как чудо, сотворила.*

*Над ним висело облачко тепла
и таяло в багряно-жёлтом свете,
и всю дорогу бабочка жила
в том, по дороге собранном, букете.*

Откровенность

*Всё у нас было:
страстей извержение,
долгих раздумий спокойная речь,
нечеловеческое напряжение
радостей, слёз,
расставаний и встреч,
приступы гнева
и приступы ревности,
тайны,
что множества таинств святей.*

Всё было...

*Не было лишь
повседневности,
этих обычных забот и затей,
этого духа очажного, хлебного,
этой обыденности без прикрас...*

*Не было прозы,
а стало быть, не было
высшей поэзии
в жизни у нас.*

В мой день

Стихотворение Александра Блока «Бушует снежная весна» написано в день и в год моего рождения. Оно заканчивается словами:

«Ценою жизни ты мне заплатишь за любовь».

*Я вижу вещую примету
в том, что под кипенью весны
в мой день пророчилась поэту
любовь неслыханной цены...
Едва очнулся март от стужи,
в сугробе мокром грузовик
буксует...Ветер, галки, лужи...
Весны волшебный черновик!
В слезах расплывшиеся строки
прочесть настанет ли черед?
А голос вольный и высокий
весь день без умолку поёт:
— Завещанному от рожденья
не возражай, не прекословь...
И я плачу без сожаленья
ценою жизни за любовь.*

* * *

*Тобою мне завещаны на счастье
деснянский луг, колодцы у плетней,
громады туч, грозу над миром мчащих,
громады круч, с которых мир видней,
вишнёвый цвет, и грабовые чащи,
и кобзы придорожных тополей, —
но это всё лишь крохотные части
твоей любви и щедрости твоей.*

*Останется со мной твоё горенье,
как молодости давней повторенье.*

*Останется со мной, в моей судьбе
не скорбное отчаянье, не горечь,
а небо — бесконечное, как горе.*

Я уже вспоминал, что первым поэтом, который принял горячее участие в моей поэтической судьбе, был Майк Йогансен. Мне было как-то не по себе, читать ему, украинскому поэту, стихи, написанные по-русски. Он это заметил и сказал: «Не волнуйтесь. Перед лицом поэзии — все языки равны. Читайте». И я читал ему свои первые упражнения...

Надо сказать, что много сил я посвятил переводам украинской поэзии, горжусь тем, что в русский «Кобзарь» вошли четыре поэмы в моем переводе.

А из переводов современных украинских поэтов я мог бы составить целую антологию. Но и украинские коллеги не обделяли меня своим вниманием.

Очень хочется прочесть свое стихотворение «Мова» сначала в оригинале, а затем в переводе Максима Рыльского.

Мова

Подсолнух задремал. Вкусней запахла мята.

Белеет у воды гусиное перо.

*В заречной стороне поют, поют девчата —
их песни широки, как степи, как Днепро.*

*В тех песнях, мне родных и милых с колыбели,
я — русский — различал в тиши вечеровой
днепровской чайки стон и скрип карпатской ели,
казачьей сабли звон и Ненасытца вой.*

Подсолнух поутру повернут к струям света.

К истокам красоты повернуты сердца.

*Народ... Его язык — его души примета,
подобно цветам глаз или чертам лица.*

*О чём успела мне в безмолвье молвить мова,
когда ненастным днём упал я на траву
и, раненый, лежал? О том, что встану снова,
что речь земли жива, а значит — я живу!*

*В кривбасских рудниках, у вышек Борислава,
в распаханной степи у юного леска
о будущем гремит — простой и величавый —
всегда живой язык Шевченка и Франка.*

*Он мне поддержкой был на всём пути суровом,
я к нежности его с далёких лет привык,
меня пленила степь своим пахучим словом
и подарила мне свой песенный язык.*

Мова

*Дрімає соняшник. Смачніше пахне м'ята.
Гусине на луці біліється перо.
Співають, ідучи в вечірній млі, дівчата.
Широкі їх пісні, як степ наш, як Дніпро.
В піснях тих, що люблю і знаю я з коліски,
я – росіянин – чув биття народних дум,
зойк чайки на Дніпрі і скрип ялин бескидських,
шабель козацьких дзвін і Ненаситця шум.
Краси земної зміст у слові був розкритий,
співучі звуки ті, і ніжні, й голосні,
допомогли мені минуле зрозуміти
і глибше полюбить прекрасні наші дні...*

*В кривбаських рудниках, при вишках Борислава,
в розоранім степу край юного ліска
прийдешнє славить нам і проста, й величава
ця мова осяйна Шевченка і Франка.
Вона підпорою була мені в походах,
я чути звик її на життєвій весні.
І хочеться сказати на весь російський подих,
чим українська річ була і є мені.*

Переклад М. Рильського

Прошли года. И чем быстрее они проходят, тем дороже становится каждая минута жизни. Становится священным каждое дыхание, и каждое дыхание да хвалит Господа!

Счастье

*Я об колено разбивал
тугой кавун на части,
в него вшивался
и не знал
того, что это —
счастье.*

*Я запах диких груш вдыхал
в необозримой чаще, —
мальчишка,
я тогда не знал
того, что это —
счастье.*

*Не знал я у истока дней
о том, что счастье
с нами,
но мелочь каждая родней
становится с годами.
Родней дыхание земли,
трезвон синиц задорных,
душистый запах конопли
и листьев помидорных;
лесистых тропок тишина,
которой нету глуше,
и сочный сахар кавуна
и терпкость дикой груши.*

Геннадий Николаев

Федор Абрамов и другие¹

Не имея ни дачи, ни автомобиля, Федор Абрамов² жил в Доме творчества в Комарове почти постоянно, выезжая в город лишь в случаях крайней необходимости. С утра до обеда работал, потом час-полтора гулял и снова — за работу.

Эти послеобеденные и вечерние прогулки запомнились особо. Нередко гуляли целой ватагой. Абрамов не имел каких-то постоянных попутчиков, звал пройтись любого, кто попался на глаза — любого, но не каждого! Тех, кто был ему неприятен по тем или иным причинам, он, как говорится, не видел в упор. Ну, вот, например, те, с кем, как мне помнится, он бродил по комаровским дорожкам в ту пору: Александр Рубашкин, Борис Роцин, Яков Липкович, Глеб Горышин, Борис Сергуненков, Владимир Цеханович, Иван Туричин...

В этих прогулках, как правило, принимала участие и Людмила Владимировна, жена Абрамова. Частенько Федор Александрович прогуливался вдвоем с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым — дача академика стояла как раз на той улице, где мы обычно бродили.

О чем же говорили? О чем спорили? Я дважды выступал на вечерах, посвященных памяти его, мои небольшие воспоминания были напечатаны³, но нигде я не раскрывал наших

¹ Отрывок из книги воспоминаний «Освобождение „Звезды”» — Ред.

² 1920–1983. — Ред.

³ «Нева» № 5, 1987. — Ред.

общих разговоров, боясь, что это как-то может повредить ему при жизни, а его изданиям — посмертно. Сейчас, думаю, можно рассказать, пока память еще держит то, о чем говорил Федор Абрамов на этих прогулках, что «пекло» его в то время.

Мы жили на разных этажах, но обедали за одним столиком. Он не уставал подзадоривать меня за работу в «Звезде»: «Поменяли вольные хлеба на редакционное рабство. Как вы можете работать с этим «наполеончиком»? *(Имелся в виду главный редактор журнала Георгий Холопов.)* А Жур *(первый заместитель Холопова)* — типичный функционер, хочет быть святее ЦК!».

Конечно, он был прав, но поддакивать я не мог. Абрамов понимал щекотливость моего положения, поддразнивал специально, озорничал — такой у него был характер. И когда я стал защищать Холопова и Жура, обращая внимание Федора Александровича на неизвестные ему положительные качества моих начальников, он, как мне показалось, оценил мой ответ.

Но однажды не без ехидства спросил: «А что это у вас за отчество, Философович? Отец что, был философом?». Я удивился: русский писатель, «деревенщик» и не знает, что имя «Философ» есть в русских «Святцах», то есть в списке святых, чтимых православной церковью.

Но вдаваться в такие тонкости не стал. Нет, говорю, историком. Преподавал историю СССР и партии... «Партии?! Какой еще партии?» ВКП(б), говорю, и КПСС.

Ох, как он рассердился! «Нет истории партии! Есть борьба за власть и преступления! Иной раз читаешь про Ленина-Сталина, ну, прямо святые!»

Государство у нас — главный враг народа, разоритель и преступник. Партия, партийные чиновники — привилегированный класс, у них дворцы, обслуга, охрана, власть! Уже начиная с секретаря райкома. И все требуют холопства.

А щедрые пайки, когда народ живет впроголодь! А всевозможные «свердловки», санатории, курорты, лекарства за валюту, коллекции награбленного у репрессированных! Люди для них — штыки, сабли, массы. Человек — ничто! Нас так воспитали, не всякий может побороть в себе раба.

Я, как Чехов, тоже всю жизнь по капле выдавливаю из себя раба, но до свободы еще далеко... А в молодости сколько дров наломал — стыдно вспоминать¹. Но антисемитом никогда не был. Русских, когда они чванливо объявляют себя народом с особой судьбой, это никак не украшает. Россия станет свободной тогда, когда освободит другие народы. В империях никогда не было и не будет свободы! Вообще о русской нации: войны, революции, раскулачивание, репрессии выбили самых ярких людей, одна шваль осталась. Запуган народ, друг друга боятся...»

Он рассказывал о прохождении своих работ: «После очерка «Вокруг да около» все, что печатает, читают в ЦК. Роман «Дом» пробивал чуть ли не год: сначала убеждал «Новый мир», потом — ЦК. Все пускал в ход: и уговоры, и демагогию, и угрозы, дескать, нет гарантии, что не издадут на Западе.

Казалось, тупик, не пробить: сто замечаний у редакции, тридцать — у цензуры, два куска сняли в ЦК без обсуждения. Сколько это стоило нервов!»

Разговор этот запал мне в душу и я, наверное, впервые в жизни стал задумываться о том, кем был мой отец, почему его жизнь сложилась столь печально, и кто я — человек свободный или тоже раб?

Несколько раз Абрамов заходил ко мне в номер, по соседски. Как-то признался: сейчас читает корректуру романа «Братья и сестры», впечатление ужасное — беспомощно, многословно, вяло. Надо бы все переделать. А что? Читателю нет дела до нашего роста, зрелости и тому прочее. Читателю подавай качество! Горький вон сколько раз переделывал «Мать», а все равно остался родоначальником социалистического реализма. Столько вреда от его «Матери»! Людей там нет, одна политика. Политика без людей — это не литература.

Говоря жестко о своих произведениях, он столь же жестким был и в оценках произведений других писателей. Вот краткие записи, сделанные по свежей памяти.

¹ О роли Ф.А. Абрамова в период «борьбы с космополитизмом» в Ленинградском университете см. статью К. Азадовского и Б. Егорова, «Звезда», № 6, 1989. — Ред.

О Викторе Астафьеве: «Царь-рыба» — пустое. Подумаешь, браконьеры — враги природы, и ни слова про главных губителей; философию развел вместо того, чтобы писать о деле. Словом-то владеет, мастер!»

О Владимире Тендрякове: «Кончина» — сильная вещь, потом пошло пожиже, куда-то в сторону».

О Хемингуэе и Чехове: «Старик и море». Растянута охота за рыбой. Вообще хорошие рассказы только у Чехова, да и то короткие, а «Палата № 6» затянута, все философские вещи слабее...»

Я был свидетелем его краткого, но весьма выразительного выступления в кабинете Георгия Александровича Товстоногова после приемки спектакля «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина.

Он встал, сложив руки в замок, опустил их, наклонил голову, начал тихо, урчащим голосом: «Тут, это самое, наверное уже достаточно напели дифирамбов. Я скажу о том, что не получилось. Прежде всего — Михаил. Разве это тракторист? Разве это деревня? Я вообще эту вещь Распутина считаю фальшивой, безнравственной. Как это так — смаковать умирание?! Следить за агонией! Выставлять напоказ святое, интимное — смерть!»

Можно было бы возразить Федору Александровичу: а как же «Смерть Ивана Ильича» Толстого и масса других произведений, где изображается умирание человека? Наверное, Абрамов был неправ, но спорить с ним никто не стал, обсуждение носило формальный характер, спектакль был уже принят.

Еще два его суждения о повестях Распутина. О повести «Живи и помни»: нарушена правда. У Настены перед Гуськовым должна быть вина, долго не было ребенка, а когда зачала — в воду?! Не верится, чтобы женщина с ребенком под сердцем кинулась в реку, скорее будет уговаривать Гуськова пойти покаяться, открыться людям, все равно от деревни ничего не утаишь! И потом — зачем дезертировать, и так бы дали отпуск. Нет военной биографии Андрея, все какие-то намеки, туман.

О повести «Прощание с Матерой»: вещь серьезнее, но переборщил со старухами, Листвень — штамп, лесной Дух — не-

внятно, язычество какое-то. «Но из Распутина может получится большой писатель...»

Однажды зашел ко мне, а я раскладываю на диване этакий пасьянс из глав будущего романа. Узнав, что я делаю, Федор Александрович так и всплеснул руками: ну, Философович, ты прямо немец. Все рассчитано, расписано, разложено. Физик да еще русский — значит, свинья! Он засмеялся, извинительно хлопнул меня по спине. И только тогда я заметил, что он крепко выпил.

Он стал спрашивать, о чем роман, есть ли прототипы. И как называется? Как раз над названием я и думал все эти дни, даже целый список составил вариантов. Он попросил список и начал медленно читать вслух. Когда раздумчиво произнес: «Город без названия», вскинул палец: «Вот!» Потом стал корить за то, что пишу, не имея прототипов. Прототип — это же сама жизнь!

Слушал, разглядывал его, а он — шагал, припадая на покалеченную войной ногу, ходил вперевалочку из комнаты в комнату — коренастый, мощный не фигурой, а каким-то духом, который возносился над ним, с веселыми, озорными глазами, с лицом в глубоких, резких морщинах и все же таким моложавым в его шестьдесят! «Да вот же прототип моего директора Маштакова!» — пронзило меня. И весь роман начал чудесным образом перестраиваться в голове, оживать. Только что найденный «прототип» вдруг строго, по-хозяйски начал ворочить лежавшие на диване главки, требуя немедленно исправить, уточнить, переписать там, там, там и еще там, там и там...

Пригласил к себе, выпить перед обедом, но я отказался — был уже «там», в своем «Городе без названия». Потом, конечно, жалел, возможно, упустил шанс услышать от Федора Александровича нечто существенное, исповедальное...

В этот период нашего соседства он давал мне почитать свои рассказы — рукописи и гранки из «Нового мира». Помню рассказ «Франтик» о раскулачивании, и другие рассказы: «Война еще не кончилась», «Сан Саныч», «Суворов»...

По одному из них я сделал небольшое замечание: автор во время войны ходил «с ружьишком на охоту» в родной Вер-

коле. На мой взгляд, для ясности в рассказе не хватало одной единственной фразы о том, что он очутился в деревне после ранения, выписавшись из госпиталя.

Абрамов насупился, помолчал и резко тряхнул головой: «Резонно!». Так были оценены мои редакторские способности.

Его домашним редактором, и строгим, была его жена Людмила Владимировна Крутикова, известный специалист по Бунину. Именно она принимала на себя довольно тяжелые проявления его сложного характера, чему мы с Инной были свидетелями не раз, сидя с ними за одним столом в комаровской столовой.

Сейчас, когда пишу эти строки, думаю, а как бы повел себя «деревенщик» Федор Абрамов, доживи он до «перестройки» и нашего времени. Ответ, как это не покажется странным, дает он сам в своих дневниках, фрагменты из которого были опубликованы посмертно Людмилой Владимировной Крутиковой-Абрамовой¹.

Вот лишь некоторые фрагменты.

26.VII.1968.

...вчера мы услышали по «Голосу Америки» трактат академика Сахарова. Потрясающий документ! Глубочайший анализ современного состояния человечества, данный с позиции науки.

Но не сам анализ поражает — в конце концов критиков мы слышали. Поражает масштабность мысли и концептуальность.

Сахаров говорит: если мы не сумеем преодолеть разобщенность человечества, человечество погибнет, уничтожит самое себя. Таковы запасы термоядерного оружия на земле. И пред этим фактом теряют свое значение все нынешние социально-классовые теории. Они слишком узки, слишком конъюнктурны, чтобы вывести человечество из тупика.

17.XI.1969.

Все думаю — который уже день — как быть: писать или не писать по поводу исключения Солженицына из Союза писателей...

¹ «Известия», 04.02.1990.

Сегодня повсеместно — не только у нас — растаптывается человек. И кто поднимет знамя борьбы за человека?..

Вот и решай, как тебе быть. За Солженицына вступить — легко, для этого требуется мужество на минуту, а вот для того, чтобы Абрамовым быть в литературе, требуется мужество на всю жизнь.

...Перечитал, что записал, и взвыл от ужаса: во что же мы превратились? Поймут ли нормальные люди, из-за чего мы дрожали от страха? И куда же еще дальше?

18.XI.1969.

Решился. Посылаю письмо. Никакими соображениями и доводами нельзя оправдать рабское молчание. И мой голос в защиту Солженицына — это прежде всего голос в защиту себя. Кто ты — тварь дрожащая или человек?

15.II.1970.

..Двадцать пять писателей подали голос протеста против исключения Солженицына.

Двадцать пять из семи или восьми тысяч. Вдумайтесь только в эти цифры!

Да, из литературы изгоняют Твардовского, первого нашего поэта...Значит, — талант нам не нужен. Талант нам враждебен. Да и вообще нам не нужна литература, нужна только видимость, суррогат...

Помню, когда в Ленинградском Союзе писателей стали готовиться к юбилею Абрамова, в «Звезде» создалась напряженная ситуация — как откликнуться на это событие.

Обращаться к Холопову, который со всех трибун называл Абрамова «очернителем и антисоветчиком», глупо — только вызвать раздражение.

Решили отправить поздравительную телеграмму от «звездинцев» Федору Александровичу домой и — никаких официальных «адресов». Подписать ее были готовы вместе со мной Михаил Панин, Наталья Неуймина, Антонина Розен, Анатолий Пикач, временно работавший в отделе критики, Татьяна Хомякова...

Однако, зная характер нашего главного редактора и не желая «подставлять» своих коллег, я послал телеграмму только за своей подписью...

С Абрамовым связано и специальное заседание редколлегии «Звезды», посвященное обсуждению рукописи Юрия Андреева «Долг перед полем» в связи с выступлением Абрамова в «Правде» и его романом «Дом».

Обсуждение было горячим, на нервах. Холопову статья нравилась, хотя бы потому, что направлена была против Абрамова. Однако большинство выступавших не поддержало Холопова. Суть дела наиболее сконцентрирована в выступлении Адольфа Урбана:

«Статья по теме нам очень нужна. Мы мало пишем о «деревенской» прозе. Нельзя ее считать некой провинцией, «областнической литературой». Проблемы деревенской прозы — общерусские и мировые, это проблемы хлеба, а хлеб — это и жизнь народа, и его друзья.

Мы говорим об интернационализме, а хлеб это и интернациональный наш престиж. Мы пытаемся заплатить долг перед деревенской прозой статьей Юрия Андреева и, по-моему, неудачно. Нельзя рассматривать роман Абрамова вне всего контекста деревенской прозы.

Что прежде всего нехорошо в статье? Она построена на передержках, на контаминации несовместимых вещей. Андреев сопоставляет, скажем, вопросы оплаты труда в колхозе с проблемами совести. Это вещи разного ряда: Абрамов говорит об оплате труда в статье в «Правде», а как художник, в романе «Дом» ставит проблемы в ином плане.

Андреев обвиняет Абрамова в очернительстве. Роман действительно проникнут тревогой. А постановление ЦК о Нечерноземье разве не продиктовано тревогой в связи с реальным неблагополучием? Разве тревога писателя не средство художественного воспитания?

Нелепо и тенденциозно трактуется факт публикации выступления Абрамова в «Правде». Андреев требует положительных решений от писателя.

И это тоже нелепо, ибо и в жизни их еще нет, а писатель не призван давать готовые рецепты. Схематизм и риторика

Андреева — не есть такое решение. И тон статьи недопустимый: поучающий, указующий, не имеющий смысла в разговоре с писателем. Через два года после появления романа выступать с такой статьей недопустимо: слишком много за это время было уже написано и сказано о «Доме». Я категорически против статьи и прошу редколлегию заказать хорошую статью о «деревенской прозе».

Казалось бы, при почти единодушном неприятии статьи Юрия Андреева, ее надо было просто-напросто вернуть автору и забыть про этот эпизод, как впрочем и бывало с тысячами подобных неудачных статей. Нет, Холопов объявляет о своем решении:

«Сообщить автору все критические замечания, высказанные на данном совещании, и, если он их учтет, расширив рамки статьи до проблемы «деревенской прозы» в целом, вернуться к ее обсуждению для возможной публикации».

Когда Андреев через очень короткое время принес «новый» вариант статьи, Холопов готов был запустить ее в производство без обсуждения. Но не решился. И снова мы все читали этот «новый» вариант, но теперь уже подали главному редактору свои письменные заключения. Статья Андреева была отклонена!

Вряд ли Абрамов знал об этой нашей «тихой» победе, но если и знал, то не от меня.

Куда больше было поражений. О некоторых я уже упоминал. Но вот еще несколько характерных примеров.

В конце июня семьдесят девятого года Анатолий Ким, московский прозаик, известный своими талантливими рассказами и повестями, такими как «Голубой остров», «Соловьиное эхо», «Собиратели трав», «Белка» и другими, зашел в редакцию и отдал лично мне повесть «Утопия Гурина».

«Отличная повесть. В центре современный тип ищущего честного интеллигента, несколько витающего в облаках. Главная мысль — красота без внутреннего содержания бесплодна, истинная гармония в двуединстве внешней красоты и внутренней. Великолепен язык, пластичны образы, глубоки мысли. Горячо рекомендую повесть Анатолия Кима, хотя и вижу

некоторые незначительные огрехи и непрописанные места, с чем, уверен, автор легко и с готовностью справится. Кое-что уже намечено мною по тексту».

Прочтя повесть и мой отзыв, а также отзыв Александра Смоляна, Холопов решил дать нам «бой». К таким приемам он прибегал довольно часто: одну и ту же вещь, которая ему не нравилась, но нравилась отделу прозы, он запускал на два круга обсуждения: малый и большой. Так он поступил и с повестью «Утопия Гурина».

Первый круг — это сам Холопов, Жур, Смолян и я. Голоса разделились поровну. Второй круг — расширенное чтение: три — «за», четыре — «против». Заключение Холопова: «Вернуть как идейно несостоявшуюся вещь».

Причем, после выступления Георгия Некрасова, сумбурного, но по сути разгромного, с домыслами и переживаниями, свидетельствовавшими, что вещь эту — тонкую, лиричную, глубоко философичную — он абсолютно не понял, после такого выступления Холопов зачитал, для контраста, мой краткий отзыв и устроил нам со Смоляном разнос за попытку «протащить» безыдейную повесть.

Подогревая сам себя, он пришел в свою «обычную» ярость и стал упрекать меня за то, что я был в творческом отпуске. «Вы — редакционный работник, должны днем работать в редакции, а романы писать по ночам!». Забыв при этом, что сам же дал мне этот отпуск. Вот такая противоречивая натура...

Второй пример — замечательный роман ленинградского прозаика Юрия Слепухина «Сладостно и почетно». Юрий Григорьевич принес его в редакцию и отдал Михаилу Панину, назначенному заведующим отделом прозы. При этом он рассказал нам историю написания романа, во многом автобиографического.

Герой, как и сам автор, в начале войны подростком попал в плен, был вывезен в Германию, на одном из «аукционов» был взят в немецкую семью, причем интеллигентную, и это его спасло.

В романе изображалась Германия военной поры со всеми подробностями бытовой жизни, и жизнь эта выглядела тяже-

лой, а люди — нормальными, не лишенными чувства сострадания и даже симпатичными, как те пожилые интеллигенты, которые спасли молодого русского.

И что же? Холопов и Жур, прочитав роман, отвергли его как «пронемецкий»! Они, видите ли, лучше знали, как жили немцы в Германии во время войны и вообще какими они были. Позднее роман был опубликован в журнале «Нева», имел хорошие отзывы.

Мои попытки напечатать в «Звезде» лучших сибирских прозаиков и поэтов — это отдельная история. Отмечу лишь отвергнутые вещи.

Мастерски написанная повесть иркутянина Анатолия Шастина «Человек с поезда» о репрессиях тридцать седьмого года.

Суровая, даже жестокая повесть новосибирца Николая Самохина о войне. Позднее, после трагической смерти автора, она была напечатана в одном из столичных журналов с предисловием Федора Абрамова.

«Странная», «не с тем героем» повесть красноярского поэта, прозаика и драматурга Романа Солнцева.

Психологически тонкий роман о советском скобарстве иркутянина Геннадия Машкина «Наследство».

Обычную свою «бдительность» проявил Жур и при чтении «Семейной хроники» иркутского поэта и публициста Сергея Иоффе. Триста замечаний оставил он на полях рукописи! «Судя по замечаниям, — писал мне Сергей после получения рукописи, — ему (*Журу* — Г. Н.) хотелось бы видеть в моей вещи повесть об отце. Я же писал о другом — о невозможности воскресить человека, об утрате нами памяти, о наших предках, о бесполезности поздних попыток понять их жизни. Видимо, не получилось. Но создается впечатление, что он судит не по тому, что есть в повести, а по тому, чего в ней нет, то есть не по моим, а по своим законам. Годится ли так?»¹.

¹ Письмо от 21.03.84. Повесть была напечатана в Иркутске. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1995 год, уже после смерти С. А. Иоффе в 1992 году.

Грустно вспоминать и о попытке напечатать стихи и прозу известного иркутского поэта Марка Сергеева¹. Марк прислал небольшую подборку стихов, на мой взгляд, хороших. Их прочел заведующий отделом поэзии Вячеслав Кузнецов и заверил меня: стихи «пойдут», дескать, он давно знает Марка, любит его поэзию и его самого.

Проходит месяц, другой — стихи не «идут», лежат. Я интересуюсь — почему? Кузнецов снова уверяет меня в том, как он сильно любит Марка Давидовича, но глаза его при этом как-то подозрительно опущены.

Я настаиваю, и Слава «раскалывается»: понимаешь, старичок, стихи затормозил Жур, говорит, пусть полежат, у нас своих «Давидовичей» хоть отбавляй, дескать, не можем же мы допускать в нашей «истинно интернациональной» «Звезде» некий перекосяк...

Я пошел к Жур — в чем дело, почему талантливые стихи известного мастера откладываются, в то время как посредственным — «зеленая улица»?

Жур опешил в первый момент, но быстро нашелся: стихи хороши, но они уж больно «сибирские, провинциальные», пусть автор пришлет еще что-нибудь, дадим обязательно! И, как любил он делать, шутливо побожился.

Искушенный в разного рода формах отказа, я понял, что со мной играют в самый обычный редакционный «футбол», о чем я так прямо и сказал Жур. Он, по традиции имевший право решающего голоса по разделу поэзии, стал заверять меня, что в «инциденте» с Марком Сергеевым виноват Кузнецов, взял да и вернул автору всю подборку, а вдруг там нашлись бы неплохие стихи...

Что мне было делать? Биться головой об эти бетонные стены? А если Кузнецов говорил правду, а лгал Жур? Как потом выяснилось из разговора с Марком, стихи вернулись без какого-либо объяснения — лишь коротенькая отписка: «В связи с перегруженностью журнала по разделу «Поэзия», стихи возвращаем».

¹ 1926–1997. — Ред.

Вот два стихотворения Марка Сергеева из возвращенной подборки:

*А что нам даётся без платы?
Немного: зарницы вдали,
рассветы, дожди и закаты,
два метра могильной земли...
А впрочем, и это — недаром:
рубцами невольных отмет
на сердце — удар за ударом —
ложится рассвет на рассвет.
И счёт неожидан и властен,
за счастьем — несчастья жди:
мы платим суровым ненастьем
за наши грибные дожди.
А годы ветшают как платье,
как снег отшумевших статей...
За наши могилы мы платим
отчаяньем наших детей,
за каждый закат — по крупице
всего, что в пути обрели,
и жизнь — за вспышку зарницы,
внезапно сверкнувшей вдали!*

* * *

*Всё злее время непростое,
всё жестче правила игры...
Я тоже человек застоя,
как все питомцы той поры.
И, восприняв благие вести,
со всеми вместе я пощусь
и тоже не стою на месте,
но к власти выбратсья не тщусь.
Да, велико раскрепощенье,
и всё ж на всех на нас печать:
и есть за что просить прощенья,
и есть за что других прощать.
Жил, от грехов не отрекаюсь,*

*а нос по ветру не держу,
в чём точно виноват я — каюсь,
а всем достойным дорожу.
Одно я знаю непреложно:
у жизни — свой водораздел —
болтать легко, работать сложно...
Как много слов!
Как мало дел!*

Естественно, я не мог написать Марку о подробностях этой истории и не мог просить его присылать новые материалы.

Наверное он понял, что с его стихами произошло что-то не совсем хорошее, но ни разу не заводил об этом разговора. Отношения между нами оставались, как и прежде, теплыми, дружескими.

Что касается моих отношений с Кузнецовым и Журом, то внешне вроде бы ничего не произошло, столько отказов, возвратов пришлось пережить за годы совместной работы! Другое дело — душевная травма, незримая и неведомая им, нанесенная циничным «интернационалистом», еще штрих к портрету холоповско-журовской «Звезды». И еще одна капля в мою и так уже переполнявшуюся «бочку» терпения...

После моего назначения главным редактором журнала я не раз обращался к Марку с просьбой прислать стихи или какие-либо исторические работы, но неизменно получал деликатные, мягкие отказы, уклончивые обещания. Ясно, что та гнусная история не прошла для него бесследно, оставила шрам в памяти.

И все-таки Марк Сергеев стал автором «Звезды». Уже будучи тяжело больным, согласился дать свои воспоминания об Александре Вампилове и они были напечатаны в номере, посвященном шестидесятилетию драматурга¹. Марк успел вычитать корректуру, но готового номера уже не увидел...

Из так называемой «Иркутской стенки» в итоге мне удалось напечатать только Дмитрия Сергеева² — его роман «Разлуки и

¹ «Звезда», № 8, 1997. — Ред.

² 1922–2000. — Ред.

встречи». Вторая его публикация в «Звезде» — роман «Запасной полк» под редакцией Натальи Асмоловой-Тендряковой — состоялась лишь в девяносто втором году. И это были серьезные публикации одного из самых крупных сибирских прозаиков, в свое время замеченного Тендряковым и печатавшегося в «Новом мире» Твардовского.

Задолго до Виктора Астафьева, в романе «Запасной полк» Дмитрий Сергеев впервые в советской литературе показал бесчеловечную, жестокую систему муштры, слежки, доносительства, вскрыл механизм вербовки осведомителей, рассказал о системе страха, в которую, как обязательный элемент, входили так называемые «показательные» расстрелы. Всю эту «подготовку» младшего командного состава Красной армии, от которой молодые офицеры видели лишь три пути спасения — фронт, дезертирство или самоубийство.

Дмитрий Сергеев был и среди авторов «вампиловской» части номера, опубликовав небольшое воспоминание «Женитьба Вампилова». По чисто техническим причинам, а такое нередко бывало в редакционной практике — из этого воспоминания были изъяты страницы, на мой взгляд, важные и для понимания истоков личности Александра Вампилова, и для характеристики взглядов самого автора, Дмитрия Сергеева. Привожу его в полном виде:

«...Часто бывая у Вампиловых, я лучше познакомился и ближе узнал Санину мать, Анастасию Прокопьевну, и бабушку Александру Африкановну. Мне нравилась обстановка теплого родственного дружелюбия и понимания между всеми членами семьи. Семейный уют достигался не за счет дорогой мебели и убранства — и то и другое было более чем скромным, а искренней, сердечной простотой общения, создающей атмосферу душевного комфорта.

Александра Африкановна в общем разговоре принимала участие редко и всегда немногословно. По ее виду заметно было, когда беседа занимает ее: вовсе не старческим, а пытливым умом светились ее глаза. Случалось, я оказывался в доме Вампиловых, когда они собирались ужинать. Меня приглашали за стол.

Общение, происходившее между домочадцами и гостем, иначе как беседой не назовешь. От более привычного нам застольного разговора беседа отличалась прежде всего искренним, не показным вниманием к собеседнику, желанием понять его, а не кидаться в омут спора, не выслушав, как часто мы поступаем. Если в нашем разговоре проскальзывало какое-либо новое слово, или знакомое, но несвойственное прежнему значению, Саня всегда давал пояснение, чтобы бабушке тоже было понятно, о чем идет речь.

Культура общения у нас не преподавалась ни в школе, ни в институтах. Прежняя досоветская интеллигенция, чуть ли не подчистую истребленная при большевиках, в свое время создала такую культуру.

Однако ни эта культура, ни сама интеллигенция новому режиму не была нужна. Иначе как «гнилой» интеллигенцию не называли. Эпитет этот она заслужила за свою склонность к добрым и милосердным делам по отношению ко всякому человеку, независимо от его общественного и сословного положения.

Именно за это ее преследовали и били. От «нового человека» — такое понятие бытовало, особенно в первые десятилетия Советов — требовалось одно: слепое, бездумное исполнение любых указаний партийного руководства страны. Разумеется, официально это называлось по-другому: «преданность делу рабочего класса».

Интеллигент уже в силу этого определения — человек мыслящий, разумеющий, и потому не способный покорно исполнять жестокие приказы властей. Если даже он не выступал активным борцом против власти, а только лишь сомневался в справедливости ее действий, он — враг народа. Естественное желание совестливого человека проявлять милосердие — деятельность, враждебная государству.

Значительно позже — тогда на эту тему не возникало разговора — я узнал, в какой мере близкие родственники Александра Вампилова пострадали в годы ленинско-сталинских репрессий.

Саня Вампилов с младенческих лет рос и воспитывался в окружении людей, для которых высшим мерилом была поря-

дочность. Такими были все многочисленные родные, такими выросли его брат и сестра, получившие в наследство от своих родителей не только талант и природный ум, а еще и высокие духовно-нравственные качества».

Редакционная жизнь — это не только выпуск журнала со всеми сопутствующими этому процессу нюансами. Это еще и обычная, человеческая жизнь — с проблемами быта, болезнями, смертями, праздниками, юбилеями... За общим столом хотя бы на время забывались разногласия и споры, сглаживались старые обиды.

И в этой обычной жизни иной раз трудно было понять, особенно со стороны, что же является определяющим в наших отношениях: идейно-вкусовые противоречия или некие общечеловеческие симпатии...

Леонид Вышеславский

«В гармонии небес, воды и суши...»

Карадагские монологи

Жизнь поэта Леонида Вышеславского, большая и разнообразная, была каким-то почти мистическим образом связана с Кара-Дагом.

Впервые он приехал сюда мальчиком, где на биостанции его отчим, ученый-биолог, Леонид Гаврилович Платонов, изучал планктон.

*Нет, я тебя не позабыл,
В тебе мне всё доселе ново,
Ты звался отчимом, но был
Отцом — куда родней родного.*

*Не только ты — твой кабинет
И сад (итог твоих усилий),
Твой телескоп, огни планет
И звёзд — меня усыновили.*

Это он первый показал маленькому Люсику чудо — жерло застывшего вулкана. Однажды они пошли пешком через горы в Коктебель в гости к Волошину, с которым Леонид Гаврилович был знаком. Потом Волошин дал мальчику несколько уроков рисования.

Из года в год, каждое лето, приезжал сюда юный поэт. Все первые, самые сокровенные раздумья над жизнью пришли к нему здесь, в этом великолепном театре природы, с застывшей в магме трагедией извержения, с вечно сияю-

щим морем, среди пения птиц, среди неповторимых крымских бабочек.

И эти впечатления стали затем основой его поэзии, придав творчеству черты высокой философской лирики.

Всю свою жизнь поэт возвращался в эти края. Кара-Даг стал первым местом на земле, которое он открыл своей будущей жене.

Во второй половине жизни Вышеславский жил уже не на родной биостанции, а в Коктебеле, в Доме творчества писателей. Долгие годы продолжалась его дружба с Марией Степановной Волошиной. Она приглашала его работать в мастерскую Максимилиана Александровича. Там, за простым удобным столом, Леонид Вышеславский писал свои стихи и воспоминания. Каждые три дня он уходил в горы, на Кара-Даг, испытывая огромную потребность общения с этой удивительной природой.

Когда же немного подрос его внук, поэт начал брать Глеба с собой на Кара-Даг, открывая ему первые чудеса заветного Крыма.

В стихах поэта, как в застывшей магме Кара-Дага, запечатлелись раздумья над жизнью, над горными тропами, переходящие в тропы жизненные...

Южная ночь

*Журчанье, всплески, звоны, переливы...
Струится тишина или ручей?
Залил цветы и освежил оливы
сплошной поток бессвязных, торопливых,
всю ночь не затихающих речей.*

*Сверкающему дню пришла на смену
сверчками пересыпанная тьма,
и в полузабытьи, самозабвенно
о чём-то самом тайном, сокровенном
бормочет, как Поэзия сама.*

Хиромантия

*Когда наша дружба была молодой,
ты мне, не смущаясь нимало
и в шутку читая судьбу по ладони,
не в шутку любовь нагадала.
Любовь у кремнистого звёздного ложа,
у самого лунного рога,
любовь, что с полётом стремительным схожа,
как взвита к небу дорога.
И вновь я карабкаюсь выше и выше
чащобой густою,
и вновь я к провалу над бездною вышел,
пленясь высотой.
Отсюда совсем уже просто руками
достать Мирозданье,
да только не может свершаться веками
былое гаданье!
По глинистым оползням,
каменным створам
скольжу то и дело,
срываются руки, не встретив опоры,
в глазах потемнело.
А ветки всё твёрже,
острее,
ежистей
в свирепом наклоне...
Тропа потерялась,
как линия жизни
на жёсткой ладони.*

Потухший вулкан

*Последний вздох потухшего вулкана
повис над морем каменной стеной,
огонь остыл, в немую вечность канув,
жерло заплыло жгучей тишиной...*

*В гармонии небес, воды и суши,
в спокойствии своих пластов и плит
вулкан лишь с виду кажется потухшим,
он только притворяется, что спит.*

*Сползут века, и он во мгле и дыме
сыграет «к бою!» вновь на кратере-трубе...*

*Вселенная — борьба. Сравненьями иными
не утешаться нам, испытанным в борьбе.*

*Мир переполнен силами взрывными.
Он ими порождён. И носит их в себе.*

Контур скалы

*Кустарник кончился, и — вскоре
потоком синего стекла
в стекло машины море влилось,
и впереди*

взошла

скала.

*Исеченная ветром глыба,—
на ней я знаю каждый штрих,
в её зубах, в её изгибах —
застывший контур чувств моих.
Перед ней я врезался с разгону,
летя сквозь полдень напролом,
в магнитную сплошную зону
воспоминаний о былом.
Забвеньем край не заблочен,
струится юности трава...
Дух не живёт вне оболочек,
вне почвы, плоти, естества!
Передо мною, перед всеми
со множеством живых примет
он превращается, как время,
в скалу, дорогу, крону, семя,
в звучанье, линию и цвет.*

Кремешки

*В тени баркаса,
у причала,
где на камнях звенел прилив,
девчонка
в кремешки играла,
подол по травке расстелив.
К ней на ладонь
они присели
и, лёгкой стайкой взметены,
вдруг с белизны
перелетели
на смуглость
тыльной стороны.
Дрожат на пальцах,
как на сите,
растормошенные броском...
В горошке чёрном
жёлтый ситец
на солнце выгорел морском.*

*Надолго был покой мой взорван,
когда, пленяя и маня,
сверкнули камешки и взоры
лишь для меня,
лишь для меня.*

Гроза в горах

*Здесь пламя адское боролось
с водой, меняющей цвета,
и небо брюхом напоролось
на зубья острые хребта.*

*Со скал скатились камни в воду,
а в час грозы в огне сыром
такие ж глыбы с небосвода
на горы скатывает гром.*

*И пальцы режу я, неловкий,
о магмы жёсткую кору,
хватая молнии верёвку,
качнувшуюся на ветру.*

*Я брошен в хаос преисподней,
у пропастей, лишённых дна,
как сатана рукой Господней,
и мучаюсь, как сатана.*

*Стезя мелькает тоньше, круче
и пропадает там, внизу..
Встаю. Иду. Скольжу по круче.
Цепляюсь. Падаю. Ползу.*

*Невелика моя отвага.
Не ровен час. Неравен бой.
Но крылья — крылья Кара-Дага —
я ощущаю за спиной!*

На груди вулкана

*Туманом и росой ромашки заслезил
осенний день. А на груди вулкана —
уснувшего, немого великана —
мерцает созревающий кизил.*

*К жерлу, где не слышать ни клекота, ни дрожи,
столетние дубы и те, что помоложе,
бредут, одолевая высоту.*

*Подобие слона в дублёной ветром коже
оперлось на прибрежную плиту.*

*Две глыбы удивительно похожи
на взвихренных орлов, застывших на лету.*

*Вулкан давно забыл, что он вулкан, а всё же
и по сей день стоит на огненном посту.*

Бражник

*В глухом краю, — обрывистом, орлином
я к вечеру взошёл на перевал,
потом спустился к полночи в долину
и лилию на дне её сорвал.*

*А бражник — жадно, трепетно и смело
лучистый сок, таящийся в цветке,
тил на лету, вися над чашей белой,
которая цвела в моей руке.*

*Поньше я в мечтах своих кочую
по тропам, где кусты и облака,
где я невольно темноту ночную
поил с руки сиянием цветка.*

Глебу¹

1.

*С мальчишкой рассветом летним
иду на свой ранний свет:
когда я с тринадцатилетним,
мне тоже тринадцать лет...*

*Каменный лев, ощерясь,
лежит среди волн морских, —
мы там нашли пещеру,
назвали «Приют двоих».
Устлали клоками сена,
вымели зимний сор,
старательно, постепенно
жизнь вдохнули в костёр.
Море рокочет сонно,
пещера полна уютца,
чайки рыдают, стонут,
жалуются, смеются...
Знаю, дышу покуда
и слушаю струны эти —
единственным счастливым чудом:
тем, что живу на свете.*

¹ Глеб Вышеславский — художник, внук Л. В. — Ред.

2.

*Бери, художник, карандаш,
взгляни с вершины вниз:
над Львиной бухтой Кара-Даг
столетьями навис.
Бери, бери свой карандаш,
встречай в горах рассвет,
хотел бы я , чтоб Кара-Даг
был и тобой воспет.
Не пропуская ничего
среди этих горных гряд,
будь счастлив тем, что на него
твои глаза глядят.
Взберись повыше и взгляни,
какую благодать
ты в этом мире, в эти дни
ещё успел застать.
Когда бы он не возвышал
наш человеческий дух,
когда бы нас он не включал
в свой первозданный круг,
я б никогда не показал
его тебе, мой друг!*

Дом поэта

Памяти М. Волошина¹

*Волна кипит на пламени норд-веста,
и в старый дом влетает вечный шум,
но шумной лжи в том доме нету места,
в нём не живет ни льстец, ни толстосум.
Здесь полки книг встают стеной отвесной.
Поэт живёт здесь. Дух его и ум.
На Кара-Даг его высоких дум
я поднимаюсь по тропе словесной.
На берег волей ветреной весны
клоки морской травы нанесены.
Прохладен зной. Тягучи космы пены.
Былым радушьем переполнен дом.
В нём тишина и свет. А за окном
гремит прибой. И сотрясает стены.*

¹ Максимилиан Александрович Волошин — поэт, художник.

Баллада о Доме поэта

Памяти М. Волошиной¹

*Холстина с ветром обливает плечи,
а вихрь волос охвачен ремешком...
Таким он мне явился в летний вечер
на обнажённом берегу морском.*

*Он неизменно душу человечью
умел согреть приютом и добром,
и навсегда пророческою речью
наполнил свой храмоподобный дом.*

*И он ушёл. А стражницею дома
осталась женщина, среди огня и грома
храня святыню много лет подряд.*

*Внизу всё так же море камни гложет...
Он и она на поднебесном ложе,
Поэзией обвенчанные, спят.*

¹ Мария Степановна Волошина – жена М. А. Волошина.

Скала

*В горах, пройдя пастуший стан,
войдя в безмолвье скал,
я в тяжком камне лёгкий стан
и профиль твой узнал.*

*Смотрю на дикую скалу
и всё ясней, ясней
твой подбородок, лоб, скулу
угадываю в ней.*

*Мне между нею и тобой
всё явственнее связь:
она над бездной голубой
из лавы родилась.*

*Она возникла из огня,
когда кипела всласть
за тыщи вёсен до меня
моя людская страсть.*

*Вулкан потух, отклокотав,
и погрузился в сон.*

*Осталась нежность блеклых трав,
заполонивших склон.*

*У мёртвой кручи на краю
стоишь ты тьму веков,
и ветер в сторону твою
относит мотыльков.*

Каперсы

*На территории Карадагской
биологической станции похоронен
друг моего детства — Костя
Розенцвейг, сорвавшийся со скалы.*

*И быстроногие,
и быстроглазые,
на берег дикий и крутой
мы по сыпучим тропам лазали
и опьянялись высотой.
Что нас влекло туда?
Неведомо.*

*Не тот ли,
всех мощнее крыл,
влекущий риском и победою,
избыток юношеских сил?!
Те дни
агатом
в магму вкраплены
и до сих пор душе близки...*

*Лежат
вразброс
по склонам каперсы,
как погребальные венки.*

Борис Евсеев

Пламенеющий воздух¹

Действие романа «Пламенеющий воздух» — происходит в России, в наши дни. Группа ученых пытается приблизиться к пониманию природы так называемой «пятой сущности»: эфира и эфирного ветра. Однако новейшие научные эксперименты неожиданно возвращают ученых к давним мировым проблемам. По ходу дела, одной из главных идей романа становится мысль о преобразении и конечном спасении всего сущего, через соединение с таинственным миром эфира.

Лирический гротеск, своеобразный стиль, уникальные мыслеобразы романа, не только завораживают читателя, но и делают чтение текста насущно необходимым.

Бесчинства Трифона

Именно в те дни, дни пьяноватых волжских туманов и бесподобного спокойствия в природе — первый налет в городе и произошел.

Благодаря разъяснениям старожила Пенькова, которому шел сто девятый год, всем сразу стало ясно: налет — по своей бесшабашности и нелепому ухарству, далеко превзошел налеты времен гражданской войны, происходившей, как напомнил Пеньков, в начале прошлого, двадцатого века.

¹ Главы из романа. Полностью роман Б. Евсеева выйдет в московском издательстве «Время». — Ред.

— А ведь речь идет, — не прекращал просвещать говорливый и ничуть не выживший из ума старожил, — о тех временах, когда город, в течение целых суток, назывался светлым именем — Луначарск! При этом по метеным наркомовским улицам проносились на лошадях и в каретах настоящие бандформирования, а не сновали в «маздах» нынешние, балаганные бандосы с травматическими пукалками...

Вот как все было.

Ранним утром, пятого октября, еще до восхода солнца по Борисоглебской стороне города Романова, медленно проехали два самосвала и один эвакуатор с открытой платформой.

На тихой боковой улочке грузовики разделились.

Первый проехал еще немного вперед и притормозил у крупного супермаркета. Суперский этот маркет, острые на словцо романовцы, из-за муторно-зеленых, небьющихся и каких-то по-особому угрюмых стескол обменного пункта, звали без уважения «капустин двор».

Пустота улиц способствовала налету.

Охрану скрутили быстро. Ловкие люди в масках — не в новейших «балаклавах», а в старых, опереточных, с блестками, в течение пяти минут погрузили на самосвал три банкомата, и самосвал увез их в неизвестном направлении.

Правда, как стало ясно уже через час, ни на какую тайную базу террористов — для последующего потрошения — самосвал с банкоматами отогнан не был. Он просто выехал на один из волжских причалов, и скинул все три денежных ящика прямо в матушку-Волгу.

Тут-то и сгодилась романовцам полузабытая песня! Потому как, когда через час осатаневшие от непрухи безработные и беззаботные держатели доходных акций стали кучками собираться у причала, им только и оставалось, что бормотать:

*Только паруса белеют,
На гребцах шляпы чернеют...
Ничего-то в волнах и нет!*

Стало понятно: место было присмотрено загодя и со знанием дела. Как объяснили частично раздраженной, а частич-

но вполне беззаботной толпе два отставных шкипера, — более глубокой «воды» на всем протяжении романовских набережных просто не было...

На второй самосвал погрузили уже не банкомат, а переносной прилавок с кассовым аппаратом и двумя мангалами. На мангалах готовили крупно рубленых домашних уток и свиной шашлык, сбрызгивая все это из громадной медицинской спринцовки гранатовым соусом.

Соус, как поговаривали, был разведен туалетной водой, разбавлен муравьиным спиртом, нашатырем, сдобрен помоями и всем, что во время приготовления попадало мангалщику под руку. Это придавало соусу дикую остроту, и помогало — без всякой русской бани — кидать добрых романовцев из холода в жар.

Мангалом и кассами Волгу захламлять не стали. Свалили в пригородный карьер.

Когда к вечеру хозяин мангала, вместе с двумя полицейскими решил осмотреть сворованное имущество — смотреть было уже не на что: одни обломки и расплюснутый кассовый аппарат виднелись на дне, только что вырытого и еще не успевшего как следует заполниться водой, песчаного карьера.

А вот эвакуаторщиков — тех ждала неудача.

Водитель и двое в масках никак не могли справиться с памятником Борису Ельцину. Памятник — как в свое время и оригинал — стоял уперто, твердокаменно! Не могли его стронуть с места ни заговором, ни веревками, ни цепью, ни молитвой...

Уже слыша вой полицейской сирены, злоумышленники наскоро вывели на памятнике пульверизатором оскорбительное, хотя, к великому счастью, и не матерное слово, и выкинув в кусты брызгалку с краской — позорно скрылись.

Рассказов об этом ходило много, и предположения были разные.

Застрельщики бесчинств и «наездов» удивили горожан настоящим. Фантазия у налетчиков работала хорошо, что и дало повод смиренным романовцам утверждать: это дело рук приезжих, никто из местных до такого просто не допер бы!

Вслед за банкоматами, мангалами и памятником, последовала вздорная, но в чем-то и поучительная, война вывесок.

По ночам старые вывески стали заменяться новыми. Причем не чувствовалось в этих действиях возмутительного панковско-го влияния! Наоборот, веяло неизбывным: разбойной удалью Стеньки и радищевским негодованием, оцарапывало пушкинскими колкостями, трепетало благородным гневом князя Кропоткина, обдавало душком милых сердцу анархистских песенок!

Охальных вывесок тоже не было, может, поэтому их и не торопились снимать. Но оскорбительные, разумеется, были.

К примеру, над входом в одну из городских оппозиционных газет, вместо привычного: «Романовская правда» — целые сутки сверкало буровато-розовое: «Лакейские побрехушки».

А вот на здании администрации новые вывески продержались всего два-три часа. Там злоумышленники, на хороших, тонкой работы медных досках, вывесили сразу две таблицы: «Контора герр бургомистра» и «Романовское представительство абвера».

Такие вывески, понятное дело, долго продержаться не могли.

Особенно после того, как на здании полиции появилась вывеска «Охранка-02», на резиденции мэра злобно шипящее, но и чарующее слово «Вольфшанце», а на неприметном окраинном здании с веселым и буйным садом, раньше обходившемся без всякой вывески — «База Гуантанамо».

Странными показались местным жителям и выходки в центральном парке.

А ведь парк города Романова... Великолепен и необычен он был!

Над входом уже много лет красовалась вывеска:

«Парк советского периода».

И уж ее-то не злоумышленники гвоздями приколотили! Во всех Вики и Литпедиях этот романовский нонсенс был заботливо отмечен.

Саму вывеску правонарушители не тронули, но всем пионерам на лбах написали «Слава им!» А одной из красивейших парковых пионерок, змейкой по груди пустили надпись: «Жирик стух! Хочу — Путиненочка!»

Это навело на мысль: в парке бесчинствуют коммунисты-обновленцы под управлением бывшего дирижера Мариинского оперного театра Семена Бабалыхи.

Но быстро выяснилось: в ночь бесчинств, этого славного дирижопера в городе не было — отдыхал маэстро в Баденвейлере! А обновленная коммунистическая организация на конец сентября 201... года, насчитывала всего двух членов. В нее входили сам Бабалыха и уже упоминавшийся выше ста восьмилетний старожил города Романова Пеньков.

Однако старожил божился и клялся, что ни во времена гражданской войны, ни во время теперешнее, ни на каких памятниках ничего не писал.

— Доносы, случалось, пописывал. Не утаю! — смело рубил ладонью воздух и призывал при этом медалями, не подлежащий суду из-за умопомрачительного возраста Пеньков, — но чтоб на груди? Про Путиненочка!

Легкое и доступное объяснение пришлось, скрежеща зубами, отбросить.

Тут как раз произошло нечто социально противоположное: нескольким парковым пионерам пришпандорили на плечи настоящие царские эполеты. Эполеты невозможно было отодрать, и они целую неделю красовались на плечах безпровинных изваяний. А еще одной пионерке, стоявшей как раз напротив той, что желала «Путиненочка», вложили в руки — словно бы исключительно для такого случая сработанные — деревянный скипетр и тяжкую, каменную «державу».

Здесь в сознании некоторых жителей города, произошел еще один, и теперь, кажется, коренной поворот: возрождение российской монархии начнется отсюда, из Романова!

Немедленно была послана приветственная телеграмма Никите Михалкову. Сразу стали думать и гадать, как Никиту Сергеевича побыстрее пригласить и похлебосольней встретить, что отвечать на его умные, полностью разъясняющие суть современного монархизма речи, как вдруг — новое происшествие.

Тепловой аэростат!

Он-то и стал венцом шестидневной войны добрых романовцев и неизвестных правонарушителей.

Тепловой аэростат — и опять-таки в ночь глухую, когда не спится только лошадям и овцам, — пристегнули тросом к радиобашне. А внизу, у башни, посадили на цепь двух хорошо известных городу собак: Рекса и Рексону.

Промеж себя Рекс и Рексона вели себя вполне сносно, а вот зевак и полицейнеров, пытавшихся приблизиться к башне, готовы были порвать на куски. Длинные цепи, с кольцами, продетые в десятиметровые, протянутые по земле проволоки, собакам в этом сильно помогали.

Кобель Рекс приобрел популярность тем, что принадлежал городскому голове. Рекс был тупо свиреп, страшно кусач и только месяц назад загрыз в парке двух милых белочек и одну приبلудившуюся кошку.

Конечно, ротвеллера Рекса можно было усыпить, а цепь обрезать. И тогда лети тепловой аэростат на все четыре стороны! И тогда раздражай своим нелепым видом хоть древний Ярославль, хоть тихий Рыбинск, а хоть близлежащее Пшеничище!

Но в том-то и беда, что городской голова, в сопровождении двух высших романовских чиновниц, в эти серовато-призрачные, волжские осенние деньки, пребывал на встрече в верхах, с последующим двухнедельным практическим семинаром, ежегодно проводимым в Республике Кипр. В турецкой его части.

А без хозяина усыплять Рекса было попросту опасно.

То же касалось и кавказской сучки Рексоны. Но тут дело обстояло куда серьезней!

Пустолайка Рексона принадлежала жене местного начальника полиции, и жена эта отнюдь не отдыхала, а находилась с докладом в Москве. И, конечно, вернувшись, не стала бы разбираться, кто украл, кто дал приказ усыпить — пусть даже на короткое время — ее любимицу резвущку Рексону...

Из-за всего этого тепловой аэростат провисел на тросе над городом ровно три дня, прежде чем команда местного МЧС, начальник которого не боялся ни Бога, ни черта, ни даже же-

ны главного городского полицейского, пересилила нерешительность городских властей.

Время, однако, было упущено. Аэростат свое дело сделал: он поселил в сердцах добрых романовцев сумятицу и соблазн.

С аэростата глядело на горожан всего несколько слов и цифр.

При этом и цифры, и слова не краской по фанере были выведены!

Цифры состояли из палок сырокопченной колбасы, а слова — из крупных и толстых полукружий колбасы полукопченной, краковской.

Сильней всего раздосадовала романовцев сырокопченка.

Мало того, что дорогим деликатесом, на огромном фанерном листе, пришпандоренном к аэростатовской корзине, были выложено четыре даты:

25 октября 1917

22 июня 1941

19 августа 1991

10 февраля 2007

Мало! Была выложена также и пятая дата. Тоже, возможно, роковая. Каждый из смотревших вверх, старался ее как можно скорей забыть. Но не мог! Дата была близкой, слишком близкой, набором цифр явно перекликалась с четырьмя предыдущими, наводила на исторические воспоминания, и — что хуже всего — грубо толкала к футуристическим прогнозам.

Еще неприятней было то, что под цифрами, под твердокаменной, но честной и прямой сырокопченкой, было кругами и полукружиями коварной краковки выложено:

«Ты уже отдал Россию за евро-колбасу?».

К аэростату, к дармовой колбасе, стаями летели птицы.

Тогда — при птичьем приближении — в корзине аэростата включалась мощная пароходная сирена.

Пернатые поворачивали назад. Возмущенно крича, разлетались они по своим гнездам, по неотложным птичьим делам или просто в разные стороны...

Дурацкая выходка с аэростатом вдруг пустила мысли романовцев по новому руслу: а не затеял ли все это, известный своей любовью к резким нарушениям норм общежития и дру-

гим неровностям поведения доктор физико-математических наук господин Усынин? Трифон Петрович — человек умный, человек продвинутый, но в последнее время сильно истомившийся в облаках романовской грусти — вполне мог на такое решиться.

Сразу вспомнилось: два года назад, и тоже осенью, разрывая тоску депрессивных туманов, расшвыривая в стороны брызги косога дождя, Трифон Петрович уже поднимался на воздушном шаре. Пролетая над городом, он тогда тоже что-то натужное и скорей всего противоположное, сверху орал.

От Трифона и его сообщников ждали новых выходов.

Но вдруг все стихло.

И все же странные эти налеты взбаламутили волжское людское море — прежде спокойное — до крайности.

В городе стоял глухой ропот. Побаивались новых бесчинств. Однако, сильнее бесчинств боялись политических провокаций, исторических аллегорий и некорректных сравнений.

Именно такое томительное ожидание и позволило заскорузлому лаптю Пенькову сморозить во всеуслышание очередную глупость:

— В городе Луначарске, да при большевиках, такого ни в жисть не случилось бы!

Слова Пенькова мигом распечатала местная оппозиционная газета. Многие смеялись, а некоторые снова задумались о быстрейшем возвращении династии Романовых — для наведения теперь уже настоящего, векового, тысячелетиями не нарушаемого порядка.

Как пьяненький или принявший дозу, в заломленной на ухо конфедератке и в калошах на босу ногу, шатался эфирный ветер по улицам Романова. Он заглядывал в подсобки и спускался в подвалы, забирался в заколоченные на зиму ларьки и стучал в забытые крест-накрест двери истлевших очагов культуры.

Наглотававшийся земной жизни эфир был в меру прозрачен, но и в меру плотен, был благодушен и тихо резв. Разве только дураковат стал слегка от сивухи.

«Кончай бухать!» — Увидал он косую, чуть подсвеченную розовым, надпись на магазине «Бодрянка», и со смеху лег наземь.

Рядом какой-то мальчуган, с трудом раздвигая меха, играл на аккордеоне «Scandalli», русскую народную.

«Вот кто-то с горочки спустился...», — старательно выводил он.

Эфирный ветер легко взметнул себя над землей, стал близ мальчугана тихонько похаживать, стал вокруг него чуть приплясывать...

И тут произошла с эфиром неслыханная вещь!

Подступила к нему — родом, конечно же, не романовская, а только год назад в городке объявившаяся, — гибкая и превосходная, но какая-то слишком унылая дама. Меланхолично расстегнув плащ, а потом и платье на пуговицах, поманила она эфир за угол...

Что было ветру делать? Со вздохом ощупал он крепкие, еще ничуть не утратившие упругости, но, правда, уже слегка прихваченные холодком груди. А потом — и теперь без всяких вздохов — радуясь и ликуя, ввинтился он в прислонившуюся к романовскому столбу, дивно-изогнутую, но даже и от любви печально всхлипывающую даму.

Вскоре дама — не требуя ни клятв, ни платы за любовь — запахнув плащ и бормоча на ходу что-то рыночно-хозяйственное, стала собираться восвояси. Здесь-то подкравшийся сзади мужик в майке, в расстегнутой куртке с капюшоном, с худым лицом, с вывалившимся грушей животиком и врезал, что было силы, ветру по голове.

Эфирному стало дурно.

Ища опоры и помощи, он прислонился к другому, совершенно постороннему, однако сразу полезшему его защищать мужику. И тут же, вместе с ним, грохнулся наземь. Бивший по голове, — в мгновение ока смылся.

Доблестные волжские полицейские всего через два часа подхватили эфир, вместе с приклеившимся к нему алкашом с земли, и сперва хотели свезти в участок. Но сразу и бросили.

Что возьмешь с бухого, кроме бухла? Что возьмешь с обкуренного, кроме «дури»?

Придя в себя, и посидев, как тот бывалый зэк, чуток на короточках, выпустив пары, а заодно расшвыряв по белу свету облачко метилового спирта, густо вдутого в паленую александровскую водяру, эфирный ветер порхнул туда, куда спервоначалу и собирался: на чертову мельницу...

Главный эксперимент. Эфиросфера

Успешно начатый взлетом двух аэростатов Главный эксперимент, был продолжен запуском всех романовских насосов, мельниц и ветрогенераторов.

И поначалу все шло в штатном режиме: аэростаты летели навстречу друг другу, трехлопастные голландские мельницы, до того накрытые камуфляжной сеткой и охранявшееся четырьмя амбалами в черной форме, мельницы, снабженные особыми ускорителями и датчиками, — своими лопастями вытянутыми в струнку, а на концах слегка изогнутыми, вертели дружно...

Однако примерно через сорок минут, один из самописцев, установленных в основном, «ромэфировском» здании, вдруг показал: скорость эфирного ветра, на который воздействовали и снизившиеся уже до восьмиста метров тепловые аэростаты и ветрогенераторы внезапно скакнула выше расчетной! Вместо трех с четвертью — она составляла теперь пять и три километра в секунду.

О том, что скорость эфирного ветра по мере приближения к земле слабеет, угасает, знали еще Морли с Майкельсоном. Чуть позже расчислили и шкалу угасания. Из этой уже набившей оскомину шкалы, следовало: ниже трех километров в секунду скорость эфирного ветра снижалась только у самой земли. Но чтобы резко повыситься?

Пенкрат позвонил за реку, на Метеостанцию:

- Проверьте еще раз скорость эфира на самописцах.
- Уже проверили.
- Ну, ну!
- Чего — ну? Баранок здесь я не гну!
- Не умничайте, Столбов!

Умный Столбов, не так давно выпустившийся с отличием из Питерского университета, не обиделся, а рассмеялся.

— Чего вы там хихикаете? Опять девушки в лаборатории?!

— Девушек мы на сегодня не вызывали. Девушки будут завтра. А смеюсь я вот почему: остолопы мы, с вами, Олег Антонович! Ох, и остолопы же... Скорость-то повысилась резко!

— Прекратите истерику, Столбов. Скажите лучше, Трифон Петрович... Он ничего такого, насчет увеличения скорости, не говорил?

— Говорил, как же!

— И как он характеризовал такое увеличение?

— А так и характеризовал: если скорость эфирного ветра резко увеличится — кердык нам всем! В общем, если начнет-ся небольшое и постепенное увеличение скорости, — говорил Трифон — значит, эфирный ветер просто слегка меняет направление. А если начнется увеличение резкое — то тогда скорость начнет менять нас с вами!

— Гляньте еще раз. Может, стихает ветер...

Эфирный ветер, почуяв узду и аркан, резко сменил направление движения. Свобода его дуновений была безусловной и неограниченной, но и рассчитана была до мельчайших подробностей.

Потоки эфирного ветра, вот уже много столетий следовали в одном и том же направлении, лишь чуть меняя в земных пределах изменение составляло триста километров к западу, и шестьсот километров к востоку свое основное русло.

Именно в таком постоянстве и состояла поразительная свобода: свобода выбирать правильный путь, свобода следовать им до конца!

Стараясь не тратить сил на людское окаянство и повсеместный сволочизм, и очень редко за них наказывая, эфир выполнял свою главную задачу неукоснительно.

А задача была не из легких! Быть посредником между материей живой и материей косной, быть посредником между Всевышним и разумными существами, где бы и в каком виде они не обретались.

ПЛАМЕНЕЮЩИЙ ВОЗДУХ

Больше того: эфир, — и это, скорей, тоже по высшей задумке, — мог и сам принимать на себя функции чрезвычайного и полномочного вершителя Судеб. Так происходило во времена диких смут, во времена явного и всеобщего помешательства, во времена безумных нападков на небо...

И вот сейчас, одну из струй эфирного ветра, принуждали действовать по законам неразумия, склоняли к тому, чего делать не следовало, заставляли творить на земле то, к чему ветер не был предназначен.

Предназначен же он был вот для чего.

Не обладая разумом в узко-человеческом смысле, эфирный ветер обладал мощным космическим инстинктом, неслыханной волей и оглушающей свободой делать то, что всегда являлось и для органики, и для неорганики — единственным шансом на выживание.

Эфир растил звезды и планеты, — а значит и Землю, — изнутри! Именно через рост и внутренние движения Земли он корректировал деятельность всего живого, на ней обитающего.

Эфир подчищал гнильцу и выправлял пороки живых существ землетрясениями, изменением климата; устранял посредством смерчей и ураганов мелкие и крупные людские загвоздки и заколупки; сглаживая непотребство и подлянки, руководил медленным движением литосферных плит. Он заведовал сжатием и расширением великих пустынь, влиял на движения главных океанских течений, проектировал строительство на их пути городов и долговременных торговых путей!

Все эти действия эфирного ветра, должны были подтолкнуть человека к действиям ответным: творчески осмысленным, со-природным человеческой сущности и согласным с волей Вселенной.

Однако творчески-осмысленных действий со стороны как отдельного человека, так и всего человечества, случалось, до обидного мало.

Так было и сейчас, в данный конкретный миг: вместо широчайшей свободы, эфиру предлагали мелкое наукообразное рабство.

Потому-то эфирный ветер резко в сторону и увернул.

Быстро освободившись от жалкого петушиного наскока, вернулся он в свое обычное русло. Правда, для такого поворота необходимо было, пусть и кратковременное, но резкое увеличение скорости...

Раздался вой и треск, из озерных чаш выплеснулась вода и повисла в воздухе косою рябью. Малые реки по всей округе вытянулись вертикально вверх. Задрожали мелкой опасливой дрожью железно-каменные мосты.

А через приречные поля прошел короткий, но жуткий огненный смерч, который в народе зовут «языком дьявола» и который, чаще всего, является ответом эфира на грубо-насильственные действия человека...

Одна Волга, спокойно и мощно, продолжала свой ток.

Но и она вдруг расширила берега, снесла несколько сотен прибрежных построек и причалов, утянула в свои водовороты три десятка стальных лоханок и вдобавок проглотила элитное белье, которое в шести громадных деревянных корытах было выставлено на берег страшно дорогой и экологически безупречной химчисткой, работавшей под вывеской «У бабы Харламихи»...

— Эфир увеличил скорость до семи и восьми дес-с-с-ят...

Голос Столбова завернулся веревочкой, упорхнул вверх. Затем, вдруг, удесятерил громкость, и, громяхая, как кровельная жесь старинной пристройки, когда ее продавливают ступающие по крыше подкумаренные работники жилищно-коммунального хозяйства, прокатился в ушах у Пенкрата звуками: р-рых, тр-рых! А потом разнесся сдавленным воем: у-а-аай...

— Столбов! Что?!

Но и не нужно было Столбова зазря спрашивать!

Кое-как пристроив на столе воющую мобилку, Пенкрат, крадучись, обошел стол, подступил к окну, глянул вполглаза на реку.

Наискосок, через акваторию Волги, по направлению к самой большой из голландских мельниц, шел громадный мусорный смерч.

ПЛАМЕНЕЮЩИЙ ВОЗДУХ

Смерч состоял из выломанных досок и покореженной жести, сохлых кустов, травы и прочей мелкой и крупной пакости. Ножкой своей смерч напоминал пыточный испанский сапог, головой — растревоженную Медузу Горгону.

Внезапно из горгонистой головы выпал длинный, острый, дряно-алый язык. Огненный язык сперва поволокся медленно и невысоко над рекой, потом ускорился, лизнул жгучим кончиком Волгу...

Тут же в воде образовалась глубокая дымящаяся воронка. Из воронки скакнули вверх и завертелись в диком воздушном танце огромные рыбы головы, обрубленные змеиные хвосты, лопнувшие щучьи пузыри, выдранные с мясом плавники четырехметровых сомов!

Пенкрат отступил от окна на шаг, потом еще на один... Смерч унесся дальше.

Сзади стукнула дверь.

Отдирать себя от терзающего душу заоконного пространства было невыносимо трудно. Но все же Олег Антонович оглянулся. Поворачиваясь, он хотел что-то спросить или крикнуть, но слова из глотки не шли.

На пороге застыл Сухо-Дроссель. Волосы Кузьмы Кузьмича торчали стоймя. Маленькие синие искры быстрой злоредной мошкаррой постреливали в редеющей шевелюре вверх, вниз...

— Справа, — проскрипел австрияк. И указал на западное окно. — И слева, — едва выговорил он, вяло протягивая руку в сторону окна восточного.

Кабинет Пенкрата, в отличие от кабинета кузнечика Коли, был расположен в мансарде «Ромэфира». Олег Антонович ласково звал его: «квартира-студия». Окна квартиры-студии выходили на восток и на запад.

Пенкрат в капюшоне снова вплотную подступил к западному окну, прижался к стеклышку лбом...

За рекой, призрачным синеватым огнем, пылал, как исполинская фигурная свеча, запущенный сорок минут назад, аэроплан АХ-7 типа «Ноорег».

Пенкрат перебежал к окну восточному.

В этом окне пылал другой аэростат. Правда, свеча пламени, бившая из него строго вверх и, Бог знает почему, до сих пор аэростат не спалившая, была не призрачной и не синей — отливала многоцветьем северного сияния.

Пенкрат развернулся, схватил двумя руками со стола огромный гробсбук, огрел им себя по башке. Тут же он гробсбук отбросил, двинул с размаху кулаком себе в челюсть...

Сухо-Дроссель из дверного проема пропал.

В глазах на минуту стало темно. Потемнело и все вокруг.

А когда темнота слегка расступилась, Пенкрат увидел все те же пылающие — каждый в своем окне — аэростаты.

Западный аэростат волочил корзину уже почти по земле. Восточный — снижался медленней, пылал ярче.

Пенкрат постарался взять себя в руки. Он стал звонить на Метеостанцию, Трифону, Столбову, Коле, Леле, опять Трифону. Позвонил даже засушенному Дросселю. Австрияк Австриякович — так иногда Пенкрат звал доставучего бухгалтеря — трубку не брал.

Связь с романовцами была потеряна.

Тогда Пенкрат подцепил за ремешок указательным пальцем армейский бинокль, откинул люк, выдрался на крышу «Ромэфира» и в наступающей тьме, подсвеченной по краям двумя пылающими аэростатами — сильней восточным, слабей западным — стал высматривать голландские мельницы.

Мельницы за рекой на глазах разрушались.

Сперва обломились лопасти одной из них, затем изогнулся металлический столб второй... Согнутая мельница тихо рухнула. Другая продолжала стоять, но было ясно: так продлится ненадолго.

Сразу вслед за падением одной из мельниц над ее обломками прошел новый огненный смерч. Этот смерч был другим: он был шире и напоминал не дьявольский язык, а огненную, с заворотом и по гребню с пенкой розовой, волну.

Огненно-острая волна, верхней своей частью, словно невидимой машинкой для стрижки овец, срезала под корень всю попадающую растительность, а нижней, как гигантским лемехом, вынимала и откидывала в стороны тонны и тонны земли...

ПЛАМЕНЕЮЩИЙ ВОЗДУХ

Землю выворачивало пластами, она не горела, а, летя, сияла: крупно, комками и мелкой россыпью!

Второй огненный смерч, тоже быстро ушел, но за ним последовали волны ветра.

Как тот неумный Никита-Кожемяка, запрягши в плуг невидимого змея, стал бороздить ветер землю и воды близ города Романова!

Вскоре одна такая глубокая борозда обозначилась явно. Была она метра три глубиной и метров семь-восемь в ширину. Борозда дошла до самой Волги и поволокла себя дальше: словно невидимое чудище, оставляя на реке глубокий и широкий след...

Не находя в себе сил и дальше выносить разрастание порухи и ущерба — Пенкрат скинул с головы капюшон и жестко, крепко, не жалея себя и не отнимая рук, вдавил пальцами глазные яблоки в глазницы...

Еще при старике Морли и профессоре Майкельсоне, еще во времена Николы Теслы — который впрямую эфиром занимался не часто, но, краем, конечно, его цеплял — некоторые ученые знали: при плотном соприкосновении с эфиропотоками могут наступить непредсказуемые последствия.

Было это известно и романовским ученым.

Давно и прочно заучили они азбуку эфирного дела! Давно и прочно знали: со стороны Северного полюса, под углом к нему двадцать шесть градусов наша планета обдувается неким постоянным эфиропотоком.

Однако о том, что происходит с эфиропотоками над землей дальше — мнения ученых сильно разнились.

Кое-кто считал: соприкоснувшись с землей, эфиропоток разбивается на струйки, и сперва в ослабленном виде продолжает полет над материками и океанами. Пока не соединится с основной — уже не летящей, а окутывающей землю подобно газовому шлейфу — массой эфира. Другие считали: эфир уходит в землю. И потом, из глубин, возвращается иным, обновленным и начинает действовать на земле и над землей конкретно, направленно.

Единства взглядов — и в России и за ее рубежами — достичь пытались. Однако из этого ничего не вышло.

Но вот сразу после романовской катастрофы последовали поправки от членкора Косована. Видно у себя в Москве Борис Никонович не на шутку пристрастился к эфирному ветру, стал вслушиваться в него — пока, конечно, чисто теоретически — внимательней, серьезней.

Членкор поправил вот что.

Он высказал мысль о существовании уже чисто надземных, боковых — не подающихся пока учету и классификации — движениях эфирного ветра. А также о всеобщем смущении мирового эфира во время действий, направленных на какую-либо из его частей.

Такое предположение толкало к дальнейшим объяснениям. Ведь ни Майкельсон, ни Таунс, ни Вавилов, ни Галаев, про спонтанные, боковые, чисто земные и, как выразился Косован: «по сути, — художественные» потоки эфирного ветра, ничего не говорили.

Именно с такими мыслями уже поздней ночью, почти утром, Косован в романовскую контору и позвонил. Не застав на месте Трифона Усынина, он потребовал от дежурного оператора соединить его с замом по науке.

На Пенкрата членкор напустился так, словно все последнее время у себя в Москве только и делал, что тренировался оратор: «Как жажнем!»

— Я вам даю теоретическое обоснование, и даю направление мыслей! А вы мне в ответ — какую-то хренотень! Куда вы дели Трифон Петровича? Отвечайте! Он должен меня слушать, — не вы... И вообще: от вашего эфирного дела — за сотни верст криминалом тянет.

— Я тут воз Трифонов... воз неподъемный тяну! А вы мне — выволочки?

— Ладно. Не скулите. Берите магнитофон и записывайте все, что я сейчас буду говорить. Утром передайте Трифон Петровичу. Может, мои слова натолкнут его на новые мысли. А где-то через месяц — я и сам буду в Романове... Магнитофон взяли?

— Уже записываю.

— Дело обстоит так. Эфиропотоки, как вода, текут по спиральному рукаву Галактики. И направлены они почти перпендикулярно движению Земли. То есть, перпендикулярно ее эклиптике. Поэтому имеет место — геометрическое сложение скоростей! Первый-второй курс университета еще не забыли?

— Не забыл, не забыл...

— А не забыли, так слушайте. На фоне огромной космической составляющей почти перпендикулярно направленная скорость — не про-сма-т-ри-ва-ет-ся!

— Это почему же?

— Да из-за того, что приборы ваши нечувствительны! И поскольку эфир, в физическом смысле, это газ и только газ, хоть он и вязковат, и все такое...

— То скорость его, как и положено газу...

— Вот! Скорость его — по мере уменьшения расстояния до поверхности земли — у-мень-ша-ет-ся. Это же так просто, так одномерно! Я, конечно, понимаю: постоянные со всех сторон на эфир наезды... Утверждения, что его нет и не может быть в природе... Все это закрыло от вас простейшие исходные положения! Просчитайте с Трифон Петровичем, как себя будет вести сжимаемый газ, а потом — как будет себя вести мощнейший поток протонов и электронов, когда меняют направление его движения — и вы получите сегодняшнюю романовскую катастрофу.

— Уже получили. Чего душу травить...

— А вот отчаиваться — не надо. Именно катастрофа натолкнула меня на ряд мыслей. Катастрофы вообще жуть как полезны.

— Да ну?

— А представьте! Хорошо б их время от времени во всех областях нашей жизни устраивать... Например, в наших властных структурах. Понимаете? Не бунт, не революция, — а запланированная катастрофа в структурах власти! И как результат — интереснейшие повороты сознания, при поиске выходов из катастрофы... Ладно, приеду — поделюсь. А вы пока Шлихтинга, Шлихтинга перечитайте! Его «Теорию пограничного слоя»! Как раз оттуда кое-что почерпнуть можно.

— Почерпнем, как же... Я, чаю, горстями черпать будем!

— Зря иронизируете. И вот еще что... Помните детскую загадку? Висит груша: нельзя скушать?

— Как не помнить! Тетя Груша повесилась.

— Очень смешно. Но Трифон Петрович, он-то, конечно, настоящую разгадку знает. А вам, так и быть, сообщу: не тетя Груша и не электрическая лампочка! А, как груша — не как шар — выглядит теперь наша с вами Земля!

Обдуваемая эфирным ветром с севера — она меняет форму. Север — съедается эфиром! Юг — как бульдожья челюсть — наоборот, растет! Только вот зачем Вселенной такая земляная груша? Никак я в толк не возьму... Но груша есть, она уже существует. А у нас в энциклопедках все какой-то эллипсоид шизоидный, вместо реальной формы Земли изображают. Сплюснули мозги всем летающие тарелки!

— Это — не спорю, это вы — в точку: сплюснули!

— Кроме того. Эта наша — так и хочется сказать: боксерская груша... Словом, земля наша не только меняет форму и растет вширь. Внутри себя новое вещество для создания новых материй она выращивает! В глубинах земли, а не в космосе творятся теперь дива дивные!

— Вот даже как?

— Именно. Потому что — и в этом сейчас мало кто сомневается — земля живая. Тут не образное выражение, тут факт. А раз так — опустим пока математику, — то начав исследовать поглощаемый землей эфир, то есть, исследуя эфир в недрах земли, — мы сможем постичь его сущность быстрее, чем из космоса. Но главное и основное: пока нужно постигать, а не вмешиваться!

— Трифон считал: обязательно вмешиваться надо...

— А вот скоро узнаем, не передумал ли! Но вы дайте мне закончить. Здесь уже не расчеты, здесь философия. Поймите! Земля — как легонький младенец в волнах эфира. Эфир нянчит и колышет младенца, и внутрь ему манную кашку, а надо — так и касторку отправляет! Но ведь наша эклиптика наклонна к солнечному экватору на семь градусов. Вот эфирный ветер, чтобы половчей нянчить, и меняет свое направление, свой наклон в градусах! Так нянька меняет положение своего тела, чтобы успокоить младенца!

— Хорош, младенец. Зубастый шибко, а так — хоть куда...

— Повторяю уже только для вас лично! Эфирный ветер воздействует на землю не для того, чтобы ее гробить, а для того, чтобы вылечить от многих возбуждаемых людским незнанием болезней! В частности: от поветрия зависти, предательства и доноительства, которые прогрызли в земной коре громадные дыры. Да что там лечение! Эфир, по сути, — наш Бог! Это говорю вам я, Атеист Атеистович в пятом поколении...

— Ого! Вы прямо, как Трифон когда-то, заговорили...

— А, представьте. Я изменил точку зрения — и горжусь этим. Не все членкоры, как у Пушкина, в эпиграмме... Там у него, прямо про заседания нынешней Академии Наук, верней, про некоторых ее членов сказано: «Говорят, не подобает NNN такая честь? Отчего ж он заседает? Оттого, что жо... есть!»

— Bravo! Вот за классика — так точно вам спасибо!

— Сболтнул лишнее... Вы кусок этот уничтожьте.

— И не подумаю.

— Ладно, снова про эфир. Всему на свете, уважаемый зам, приходит конец. И если наши гадкие эксперименты с человеческой жизнью и совестью, с клонированием, с «нерождениями», с уничтожением культуры и политическим бешенством не прекратятся, — эфирный ветер начнет действовать жестче, радикальней.

И действовать он будет посредством влияния на сердцевину земли. Да-да! Через рост гор, пустынь и движения литосферных плит, посредством колыхания океанского дна, с последующими смерчами и ураганами. А они, в свою очередь, приведут к общемировой войне и полному самоуничтожению! Не «космическая погода» теперь на нас будет влиять, а «внутриземная»!

— Бросьте пугать!

— Не верите? Да поймите вы, Пенкрашка несчастная! На нас надвигается мировой эфирный протест! Не мы протестуем. Против нас, нынешних, эфир протестует! А после протеста... После него — или окончательное небытие, или новое небесно-земное царство эфира!

— Вы про это нашим религиозным деятелям еще не рассказывали?

— По моим выкладкам, новый мировой эфирный проект, новая, имеющая возникнуть Эфиросфера — не войдет в противоречие, то есть, не будет отрицать ни одну из традиционных религий. Просто даст им сильнейший импульс развития, даст верное доказательство Бытия Божия в эфире и над эфиром!

— Да вы там все, в Москве, просто ума рехнулись! А вы лично... Ну, просто какой-то религиозный катастрофист! Я думал: Косован — светило! Я думал Косован — серьезный ученый!

— Без религиозного аспекта никакая новая наука существовать не сможет... Но не так все плохо. После катастрофы, — так было и после всемирного потопа, — могут наступить яркие и радостные последствия. И человек, и государства земные, как системы, завершившие одну из фаз развития, — круто изменятся.

Люди научатся поглощать избытки эфира, а не животных. Научатся не голоса на выборах подтасовывать — голоса эфирного ветра слушать. Что, поверьте, намного важнее. Научатся переходить из плотного тела в тело эфирное, неплотное! О таком неплотном теле — еще апостол Павел сообщал.

Тем самым мы обеспечим себе бессмертное существование, и при этом — не перенаселим землю...

— Не проще ли нацепить скафандры — и к звездам?

— Ага. И там довести до ручки уже не землю, а ближние и дальние небесные тела! Человек прежней формации и останется прежним! Грех падения всегда будет с ним! Только техники станет побольше. Датчиков на задницу гуще себе повесим. А вот для соединения с эфиром — время будет упущено!.. Но в нашем с Трифон Петровичем варианте, не только часть человечества, а возможно и все оно, перейдет в эфир. При этом, как многие и хотели, будут восстановлены — конечно, только в эфирном состоянии — все поколения ушедших предков!

— Вот так-так! И сбудется мечта этого сумасшедшего дурачка... Этого философа доморощенного... Как его, из головы вылетело...

— Это вы про Федорова — «доморощенный»?

— Бросьте вы свои религиозные заманухи! Я требую научного объяснения свойств эфира. Я и Трифону всегда так говорил, когда его, туда же, куда вас, заносило. Но ваши выводы, Борис Никонович... вы уж не обижайтесь... Они, знаете, чем пахивают?

— А ваши? Ваши выводы? Вы ведь просто-напросто научный подлог совершили!

— Подлог совершили не мы. Его еще в двадцать девятом году совершили релятивисты — к которым и вы до последнего времени принадлежали — когда сделали вид, будто не было результатов Майкельсона по эфирному ветру!

— Вы просто уходите от темы. Теперь, я, наконец, понял: пользуясь отсутствием Трифона, вы всю эту бестолочь в Романове и устроили. Чтобы дискредитировать идею. Чтобы доказать окончательно, как это и принято в европейской научной мысли двадцатого—двадцать первого века — эфира в природе нет! Но вернется Трифон к Оригену, к Максвеллу и Агриппе, а заодно и к Морли с Миллером — докажем обратное!.. Работает магнитофон?

— Вовсю пашет... Но вы лучше вместо всей этой научной брехни, подскажите, чем нам теперь-то конкретно заняться?

— Найти Трифон Петровича и дать ему прослушать эту магнитофонную запись. А дальше... Вернувшись к истокам, Трифон сам найдет выход.

В трубке зарычало и треснуло. Членкору показалось: далеко, за Волгой, из расколовшейся надвое Пенкратовой мобилки, поволокся едкий угарный газ. Ногти и пальцы Пенкрашки стали вдруг, как у безбашенной девки, черно-розоватыми, кожа лица — тоже...

«Розовоперстая Эос...», — прошептал безотчетно Косован.

Здесь треснуло снова и рыкнуло в трубке громче.

— Что там у вас с-снова? — теряя голос, засипел в трубку членкор.

— Узнаю — что, всех порву!.. — гулко, как из колодца, откликнулся Пенкрат.

И тут же кто-то другой — судя по голосу, никакой не Пенкрашка, — печной осенней трубой завыл: «О-у-у-х-с-с-рр! Ох-х-р-р!»

Борис Заборов

«Земную жизнь пройдя до половины...»

Проблема выбора профессии мне не была знакома. С момента моего рождения я оказался в атмосфере мастерской художника, моего отца — Заборова Абрама.

... Ничто не ориентирует меня так точно во времени и в ощущениях, как запахи. Запах масляной краски и льняного холста — это мой отец. Этот запах волнует и тревожит меня всю жизнь, вызывая вереницу воспоминаний. Отцу я обязан многим, и тем, что стал художником.

Меня не успело утомить детство. Оно оборвалось быстро, вдруг. Мне было шесть лет, когда началась война. Сколько должно было произойти — иногда удивительных и странных, но, в конечном счете, счастливых — жизненных пересечений, чтобы выжить. Погибнуть было легче, чем остаться в живых.

Это могло произойти в нацистском концлагере, где погибла вся семья моей матери. Это должно было произойти под пулями немецкого «мессершмита», на бреющем полете расстреливающего платформу товарного поезда, набитую беженцами.

Это казалось неизбежным, когда тихоходный газик, в котором были мама с сестрой, мой младший брат, я и архив какого-то областного военкомата, встретился на проселочной дороге с немецким танком. И позже — еще много раз, от болезней, от голода...

Это время зафиксировалось в моей памяти тревогой, ожиданием опасности и постоянной деятельностью. Очевидно,

это так глубоко вкоренилось в сознание, что стало моим постоянным ощущением жизни.

В первый же год после окончания войны наша семья вернулась в Минск. Города практически не существовало. Все пространство, которое охватывал взгляд, представляло собой ирреальную картину. Руины, пепелища и одиноко бродящие по ним словно в чем-то повинные фигуры людей. В сумерках город становился еще более тревожным и загадочным. Мерешился доисторический пейзаж, где силуэты развалин на фоне вечернего неба обретали рисунок фантастических животных.

Но со временем город начал оживать. Возвращались беженцы и солдаты.

Закончив восьмой класс средней школы я поступил на второй курс Минского художественного училища. Малочисленный студенческий состав в основном состоял из людей, прошедших войну. Они были старше меня на восемь–десять лет по возрасту и, как минимум, на двадцать — по жизненному опыту. В их окружении я чувствовал себя не очень-то уютно.

Годы учебы в училище были самые скучные и бесцветные. Окончив училище, я подобно молодому д'Артаньяну, обуреваемый тщеславными мечтами, бросился в Петербург. Успел к приемным экзаменам в Академию художеств. Экзамены провалил, но остался в подготовительном классе при Академии, и на следующий год, выдержав конкурс, стал студентом первого курса.

Этот момент стал рубежом в моем самосознании. До этого существовал как бы не я, очень близкий мне человек — почти я, но не я. Произошло качественно новое самоопределение, изменившее окружающий меня мир. Он как бы стал податливее, размягчаясь в новом энергетическом поле, которое я ощутил вокруг себя. Понятие воля стало для меня качеством, а не словом.

К этому времени все так счастливо сошлось: возраст, студенчество и, наконец, сам город, прекрасный и непостижимый. Вообще, период учебы в Академии был праздником — беззаботно счастливым.

Автономия территории, которая включала в себя студенческое общежитие, академический сад и главный корпус, вы-

ходящий фасадом к Неве, — все вместе создавало ощущение привилегированности, что, оказывается, совершенно не вредит психологическому здоровью.

Занимались мы в просторных светлых классах. Долгими часами штудировали гипсы, слепки античной скульптуры, как это делали до нас многие поколения студентов по однажды сформулированной и законсервированной методике обучения. До нашего студенческого уха долетало далекое эхо бурлящей жизни за стенами нашего «комфортного питомника», и мы с легким презрением относились к академической рутине обучения.

Но сегодня, с моим опытом, я воспринимаю как благо и чудо, что разрушительная энергия человеческих страстей оставляет в стороне своего губительного внимания маленькие островки покоя.

Это — рукописи, книги и архивы, «которые не горят», это целые культуры, засыпанные землей в ожидании воскрешения, это как бы забытые Богом северные деревни с уникальными образцами русского деревянного зодчества, картины, сохраненные бескорыстной любовью коллекционеров, и многое, многое другое. Все это — суть звенья одной непрерывающейся цепи, которая есть наша культура и, быть может, единственное оправдание нашего земного бытия...

По давнишней традиции Академии художеств по окончании второго года обучения студенты проводят летнюю практику в Крыму. Считалось, что после северного тяжелого, низкого неба над Васильевским островом будущим художникам полезно освежить палитру под южным солнцем. Меньше всего эти крымские каникулы имели отношение к моей палитре, но жизнь мою переменили фатально.

Однажды утром на тропинке, ведущей к морю, я встретил девушку — красивую, тонкую, отлитую словно из бронзы.

Если бы в те времена какой-либо прорицатель сказал, что я оставлю по своей воле Петербург, Академию, — я счел бы его умалишенным. Но произошло именно так. Девушка училась в Москве. Только что встретив, я не хотел ее потерять. Осенью того же года я стал студентом Московского художественного института имени Сурикова.

Учеба и жизнь в Москве существенно отличались от петербургской. В уютном гетто Академии художеств мы росли подобно тепличным растениям, фактически не соприкасаясь с внешним миром. В Москве все было иначе. Учеба была лишь обязанностью — не более. Каждый из нас искал свое место под солнцем за пределами института, в многомиллионной московской сутолоке. Позднее я смог вполне оценить этот московский опыт.

По окончании учебы я вернулся в свой родной город Минск и сразу получил несколько предложений от издательств проиллюстрировать, не помню уж какую, литературу. Тогда я не подозревал, что это начало пути, который к концу семидесятых годов приведет меня к решению покинуть страну.

Я жил в стране образцового тоталитарного режима, для которого порочная идеология была условием существования. Опа пронизывала всю жизнь, и искусство — в первую очередь. Книжная графика оставалась относительно «нейтральной зоной», которая притаилась в тени литературного текста.

Моя жизненная стратегия была ясной — стать художником, писать картины. Живопись давала удовлетворение, но не приносила денег. Книжная графика кормила, но со временем становилась все более ненавистной. Нарастало отчаяние, озлобление и, наконец, тревога безвозвратно потерять самого себя. Осознание того, что каждый прожитый в этом состоянии час, день, год безнадежно уменьшают шанс собственного возрождения, было мучительным. Как разрубить этот гордиев узел?

Так ранним утром в мае восемьдесят первого года, «земную жизнь пройдя до половины», я оказался на перроне Северного вокзала в Париже. Я ступил на землю романтических мечтаний и юношеских сновидений. Под мелко морозящим, рыжим в свете вокзальных фонарей дождиком я не издал ликующего возгласа победы. Напротив, острое чувство тревоги пронзило меня. В этот новый для меня мир я приехал не туристом, а с тем, чтобы в нем поселиться, с амбицией начать новую жизнь. Попытаться стать художником в том смысле и содержании, как это понимаю я.

Уезжая в эмиграцию, я устроил генеральную чистку своим мозгам, безжалостно расставаясь с иллюзиями «славной биографии советского художника», готовя сознание к испытаниям, а себя — к каторжному труду. С собой я взял только инструмент — свой опыт и профессиональный навык. Я приехал во Францию без единой художественной идеи. Уже на перроне вокзала я вполне ощутил масштабы пропасти, разделяющей мой прежний романтизм с ожидающей меня реальностью.

В ней не было моего детства и юности, дорог, мною хоженных, ничего того, что могла бы реставрировать память. С этим новым для меня миром не было ни одной нити связи, кроме той таинственной, которой каждый человек прикрепляется ко всему человечеству.

Примечание

Борис Заборов — живописец, скульптор, сценограф; родился 16 октября 1935 года в Минске.

Первые навыки ремесла получил в мастерской своего отца, художника Абрама Заборова. После окончания неполного курса средней школы, в 1949 году, в возрасте пятнадцати лет поступает в Минское художественное училище. По окончании училища отправляется в Ленинград, где его принимают в среднюю художественную школу (СХШ) при институте им. И. Е. Репина.

1955–1957. Академия художеств — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

1957–1961. Академия художеств — Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Курс профессора Михаила Ивановича Курилко.

По окончании учебы Борис Заборов возвращается в Минск. Но вписаться в официальное искусство он не мог и не хотел. И как многие его коллеги и товарищи, он находит своего рода убежище в книжной графике.

Его принимают в Союз Художников СССР, что обеспечивает ему определенную социальную стабильность. Как худож-

ПРИМЕЧАНИЕ

ник книги Борис Заборов получает широкое признание в своей стране и за рубежом. Его приглашают к сотрудничеству крупные столичные издательства. За многие годы им были оформлены и проиллюстрированы десятки изданий отечественной и мировой классики. Он становится многократным лауреатом национальных и международных книжных конкурсов.

Отдавая себе отчет в том, что художник-иллюстратор всегда вторичен по отношению к авторскому тексту, Борис Заборов, художник с большими потенциальными возможностями, ищет и иные способы самовыражения. К этому периоду относятся его многочисленные станковые гравюры, а также работа для театра.

Общая атмосфера в стране, стагнация брежневского режима, творческая неудовлетворенность приводят художника к решению покинуть Советский Союз с тем, чтобы посвятить себя целиком живописи.

В 1981 году Борис Заборов эмигрирует вместе с семьей и обосновывается в Париже, где его живопись привлекает внимание галереи Клода Бернара — одной из самых крупных парижских галерей. В этой галерее в 1983 году проходит его первая персональная выставка.

В том же году Борис Заборов становится Лауреатом Премии города Дармштадта (Германия) — «Одному европейскому художнику», присуждаемой ежегодно. В ее условия входит персональная выставка в городском музее и издание каталога. Выставка состоялась в музее Матильденхоф в 1985 году. Это была первая музейная выставка художника на Западе.

В 1989 году в Парижском музее «Пале де Токио» состоялась его вторая музейная ретроспекция. Эти две музейные выставки определили место Бориса Заборова в культурном европейском пространстве.

В восьмидесятые—девяностые годы проходят его персональные выставки в галереях Франции, Америки, Японии.

В 1993 году Борис Заборов принимает приглашение Музея им. Пушкина в Москве, где в июне 1995 года состоялась его большая ретроспекция — первая выставка, которой Музей удостоивает русского художника «третьей волны».

Это был первый приезд Бориса Заборова в Россию после эмиграции.

В эти же годы Борис Заборов принимает участие в крупных коллективных выставках. Среди них: «Ratio und emotion. Kopf + Bauch». Музей «Матильденхох». Дармштадт (Германия); «Contiguités». Музей «Пале де Токио». Париж; «Sur invitation». Музей декоративного искусства. Париж, и других.

В 2004 году ретроспективные выставки Бориса Заборова проходят в Русском музее (Санкт-Петербург) и в Третьяковской галерее (Москва).

В двухтысячные годы Борис Заборов возвращается к книге, но в ее иной ипостаси: он создает бронзовые, «вечные» книги, которые в 2006 году были показаны в музее «La Monnaie de Paris» на персональной выставке художника. На следующий год его бронзовый четырехметровый монумент «В честь книги и письменности» был установлен в парке института «Технион» в Хайфе (Израиль).

В 2004 году картина Бориса Заборова «Художник и его модель» («Автопортрет») была включена в экспозицию выставки «Автопортрет XX века» (Музей «Люксембург», Сенат, Париж), которая затем переместилась в Музей «Уффици» («Uffizi», Флоренция, Италия).

В 2008 году картина «Художник и его модель» вошла в коллекцию Музея Уффици. Для ознакомления широкой публики с вновь приобретенной работой в течение двух недель «Автопортрет. Художник и его модель» экспонировалась в зале музея как «Выставка одной картины» — прежде чем была передана в исторический «Коридор Вазари», в знаменитую коллекцию, по праву считающуюся «Храмом» автопортрета. Итальянская пресса назвала это приобретение сенсационным и важным событием в музейном мире.

В 2010 году в Минске, на родине художника, в Государственном музее Беларуси состоялась большая ретроспективная выставка Бориса Заборова. Этой экспозицией художник с триумфом вернулся на родину, которую ему пришлось покинуть тридцать лет назад.

ПРИМЕЧАНИЕ

Карьеру театрального художника Борис Заборов начал еще в студенческие годы, в Москве. Его первой работой была постановка с Петром Фоменко (конец 50-х годов) «Иркутской истории». По возвращении в Минск — работа над спектаклями «Гроза» по пьесе Николая Островского (Белорусский академический театр, режиссер Леонид Хейфиц), «Мой бедный Марат» по пьесе Арбузова и «Банковский билет достоинством в 100 тысяч франков» по пьесе Виктора Гюго (режиссер Вячеслав Бровкин) в том же театре.

В Париже Борис Заборов не раз возвращается к сценографии: в 1992 году он приглашен в театр «Ля Комеди франсез» как художник по костюму к спектаклю по пьесе Лермонтова «Маскарад» (реж. Анатолий Васильев). Его сотрудничество с театром «Ля Комеди франсез» продолжается и в последующие годы: костюмы к спектаклю «Лукреция Борджиа» по пьесе Виктора Гюго, костюмы к спектаклю «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева, сценография и костюмы к спектаклю «Амфитрион» Мольера.

В 2007 году Борис Заборов создает на русской сцене сценографию и костюмы к спектаклю «451° по Форенгейту» в московском театре «Et Cetera».

В течение всего 2008 года Борис Заборов — автор идеи и режиссер — работает над короткометражным фильмом «Сонет». К работе над фильмом он приглашает актрису Шарлотт Рамплинг. Двадцатипятиминутный фильм снимается в его мастерской. Музыка для фильма написана его сыном, композитором Кириллом Заборовым.

Творчеству Бориса Заборова посвящены научные работы, монографии, статьи, а также документальные фильмы и телевизионные передачи.

Борису Заборову присвоено звание Кавалера Ордена «Искусство и литература» Французской республики. В 2013 году он избран Почетным академиком Российской Академии Художеств (Москва).

Журналу «Грани» Борис Заборов предложил цикл своих рассказов, и мы с благодарностью публикуем их.

Борис Заборов

Рассказы

Птица

Сорока в парижском небе птица довольно редкая. Тем более был поражен увиденным...

Войдя во двор своей мастерской, на вымощенной камнем дорожке, ведущей к дому, я увидел мертвую птицу. Это была сорока. Нагнувшись, я не обнаружил на ней никаких видимых следов агрессии. Но ее глаз, повернутый ко мне, был задержан туманом смертной поволоки.

Я притронулся к птице. Она была еще теплой. Значит неведомая мне драма произошла только-только перед моим приходом. Чувство сродни суеверному овладело мною. Оставить на дорожке птицу я не мог, а выбросить еще теплую в мусорку было просто невозможно. Я отнес ее в «чайный домик» на территории моего сада. Затем, в мастерской налил в большую плоскую тарелку воды и мелко крошил в нее хлеб. Вернувшись в «чайный домик», я попытался открыть птице клюв, чтобы влить несколько капель воды. Ничего не получилось, и я ушел к себе.

На следующий день, проснувшись рано и наскоро одевшись, я вышел в сад, захватив совок и пластиковый мешок. Но каково было мое удивление, когда птицы не оказалось там, где я оставил ее накануне без всяких признаков жизни. Более того, тарелка была пуста. Брезгливая мысль о нена-

вистных мне тварях промелькнула в сознании. Нет, нет, это невозможно, да и перья были бы повсюду.

Я начал оглядываться вокруг. Затем отворачивать холсты, рамы, заглядывать за различные предметы. Нигде никаких следов присутствия птицы не было. Вот ведь какая странность. В рассеянности подняв глаза к потолку, я оторопел. То, что увидел, так развеселило меня, что я стал хохотать. Да и как же было не развеселиться...

Когда я собрался в эмиграцию, мой товарищ, скульптор подарил мне гипсовый слепок моего портрета, некогда им выполненный. Эта голова больше натуральной величины многие годы стояла под крышей на самой высокой полке стеллажа в «чайном домике». Запыленная, в паутине и как положено с отбитым носом. Птица сидела на макушке, а по голове неспешно стекали многоцветные ручьи. Она смотрела на меня сверху вниз и с трогательной невозмутимостью продолжала свое нечистое дело.

Однако, какая замечательная, назидательная картина. Неужто на самом деле ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Возможно. Но это исключительная привилегия цивилизованных млекопитающих — человек. А ты, птичка Божия, милая плутовка, сорока-воровка, не могла бы и придумать более щедрого благодарения, очевидного свидетельства своего воскрешения.

Открыв настежь окно в домике, я устроился на крыльце мастерской для наблюдения. Как ни странно, сорока вовсе не спешила вылетать. Пришлось ждать.

Она появилась на подоконнике и с любопытством начала осматриваться, вертя головой во все стороны. Она как бы не верила своему птичьему счастью, желая убедиться, что простор и воля здесь, рядом, стоит лишь взмахнуть крылом.

И она взмахнула внезапно, резко. Стремительно, словно стрела, пущенная из арбалета, вертикально вонзилась в упругую синеву утреннего неба. Она уходила ввысь, и уже почти растворилась в ее безмерности, но вдруг зависла на мгновение и затем, так же стремительно, начала падать вниз.

Казалось, птица не сможет выйти из опасного пике и разобьется. Но не долетев самую малость до земли, она снова взмыла под острым ножевым углом и начала свой на грани истерии воздушный парад.

Светлой мыслью следил я за птицей, вчера бездыханной в моих руках, сегодня — торжествующей властительницей жизни, свободы, хозяйкой необъятного пространства, за изысканном рисунком тайнописи, который она чертила черным крылом по синему фону неба. Наконец сорока скрылась за огромной кроной каштана.

Больше я не увижу тебя никогда, моя птица. Прощай...

Впрочем, спустя год, и тоже летом, работая в мастерской, я услышал характерное сорочье стрекотание и, оставив кисти, вышел в сад. На коньке черепичной крыши «чайного домика» сидела сорока. Так хотелось верить, что это она, спасенная мною птица...

Случай или рок

Улица маленькой деревеньки круто спускалась под откос. Ливни, прошедшие ночью, размыли проселочную дорогу настолько, что несмотря на жаркий полдень проехать дальше было просто невозможно. Мы с приятелем оставили машину, достали из багажника снасти, цинковое ведро, разулись, закатали брюки и продолжили путь пешком. Сразу за деревней открылся чарующий пейзаж родины. Родины, в изначальном корневом значении этого понятия. Место, где родился и вдохнул первый живительный глоток воздуха.

Какие же непостижимые разумом нити связывают меня с этой природой. Тихая, неброская. Леса, поля, холмы да озера, словно кем-то разбросанные зеркала, в которых отражаются плывущие в небе кучевые облака с фиолетовым поддоном.

Мне довелось в жизни повидать много прекрасных пейзажей. Но только тот, в котором родился, посылает мне сигнал щемящего чувства физиологической к нему причастности, сигнал, заставляющий вздрогнуть воспоминанием, всполошиться томлением.

В никаких других лугах так звонко не трепещет жизнь мелкого травного населения. Нигде так не щекочет обоняние острый терпкий запах прогретого солнцем соснового бора, запах опят и груздей в его сырых низинах, куда не пробивается солнечный луч.

Нигде на вырубках нет такой крупной и ароматной земляники, такой душистой малины. Нигде ковер полевых цветов так волнующе прекрасен в своем многоцветии. Нигде птицы не поют так страстно, так одержимо...

Под этим небом проходило мое детство. По этой земле бегал босиком в юности, разбивал палатки с друзьями в тенистых рощах и лесах, влюблялся. Под этим небом мама трепетала надо мной в тяжелые и смутные годы. Под этим небом тайком я втыкался лицом в шляпу моего отца, потрепанная подкладка которой хранила его такой родной запах...

В этой земле покоится прах моего младшего брата, не успевшего открыть букварь в первом классе...

Мы шли бодрым шагом посередине дорожной полосы и брызги из-под ног веером разлетались по сторонам, блестя ртутными шариками в прямых лучах стоящего в зените солнца. С обеих сторон дороги с редкими островками суши на нас тоскливо взирали синие глаза васильков. Прибитые к земле дождями они не хотели умирать, но и не в силах были выпрямиться на усталых стеблях ног. В стороне от дороги, на краю ельника, мы увидели одиноко стоящую хату под почерневшей от времени соломенной крышей. К хате вела тропинка, и мы решили зайти испить воды. День, на самом деле, разгорался зноем.

На стук в дверь никто не ответил, но было очевидно, что она не заперта и, толкнув ее, мы вошли вовнутрь. После солнечного света дня в хате ничего не было видно. Но через какое-то время из мрака, словно на фотобумаге, опущенной в раствор, проступила картина, поразившая меня своей отчужденностью ко всему вокруг. К нам, незванно вошедшим, к восторгу жизни за стенами хаты.

На тюфяке, сшитом из грубого холста, набитого соломой, неподвижно лежал старик с резко запрокинутым вверх лицом

и сложенными на груди руками. Умиравший или уже скончавшийся, было неясно. Рядом со стариком на лавке сидела старуха, смотрящая в одну только ей видимую точку.

Мои глаза, окончательно привыкшие к темноте, заметили висящую на стене старую фотографию в полуразрушенной раме. На ней была запечатлена сцена, почти зеркально отражающая ту, которая развернулась перед нашими глазами, придав всему происходящему мистическое содержание: на соломенном тюфяке, покрытом белой простыней, лежит покойник. В его сложенных на груди руках — свеча. Он одет в тройку двадцатых годов. У его изголовья — женщина, она держит в руках фотографию в широкой деревянной раме. На фотографии покойный в молодости с бантом в петлице, очевидно, времен их свадьбы. Слева от нее двое юношей. И с краю, в ногах — старуха. Во втором ряду стоящие люди, две женщины и двое мужчин, один из которых поддерживает рукой надмогильный крест с распятием.

Все персонажи этой фотографии замерли в торжественной неподвижности. Их взгляды, устремленные в объектив невидимой камеры на происходящую сцену отходящей жизни, соединили прошлое с настоящим в единую протяженность, в непрерывную связь времен. Выразительность метафоры была ошеломительной.

Я снял со стены фотографию и унес с собою. Проще говоря — украл. Я не мог тогда рационально объяснить свой поступок. Спустя годы эта фотография приехала со мной в эмиграцию и послужила фундаментом, на котором я выстроил свою художественную идею.

Однажды в Венеции

Два бронзовых стража за моей спиной ударами в колокол оповестили шесть часов после полудня. В этот момент произошло крушение гармонии.

Я стоял на Пьяцетте и смотрел в пространство между двумя колоннами, где в июньском дрожании воздуха над лагуной парил остров Сан Джорджо Маджоре. Впрочем, правильнее сказать, что эта давно и хорошо знакомая панорама лишь от-

ражалась в моем зрачке, а мысли растекались по Венеции, не имея определенной формы и конкретной направленности, подобно нефтяному пятну на морской поверхности.

И не возникало даже желания собрать их в точку. Напротив, не хотелось нарушать блаженное переживание, когда предсознание, подсознание или сознание — кто их к черту разберет — плавают в сладком сиропе ничего. И если бы вопрос, о чем думаешь, застал меня в этот момент, не знал бы, что ответить. Ни о чем — и обо всем, что имеет отношение к Венеции, что меня с нею связывает.

Я бываю часто в этом городе. Я знаю Венецию настолько, что имею право сказать, что совершенно ее не знаю. Но если бы меня высадили с закрытыми глазами, я бы ее опознал как любовник любовницу: на ощупь, по запаху, притягательной ауре, которая ее окружает. Великие люди — места — наполняют духовным содержанием пространство, в котором живут, работают, созидают.

Гондола беззвучно пересекала площадь Святого Марка. Из густого наста низко стелящегося тумана временами выныривал ее черный лакированный задранный кверху дельфиний нос. В гондоле стоял Он. Гондола обогнула Кампаниллу, прошла Пьяцетту и повернула налево вдоль южной стены дворца Дожей в направлении Заккария, и тут я потерял Его.

Но это несколько меня не обеспокоило. ОН и Я знали направление и место нашей неизбежной встречи, ибо ОН — это Я. Мы лишь «расслоились» на время, чтобы иметь возможность наблюдать один другого как бы со стороны. Скажу, что занятие это вполне замечательное. Уже с первого взгляда стало очевидно, как ОН льстит Мне.

Плывущий в облаках тумана, ОН торчал из них в своем черном плаще и сером борсалино со скрещенными на груди руками, ни дать ни взять, странствующий Чайльд Гарольд, или в худшем случае — Наполеон Бонапарт.

Но ЕГО чванливые амбиции не могли ввести меня в заблуждение. Я-то знал, что ОН — всего лишь художник и не более. Плывет себе тихо, никому не мешает, понимая, что в бесноватом потоке нашего времени, триумфа посредственно-

сти, все значительное, чтобы не погибнуть, должно держаться ближе к берегу, и помнить: чтобы иметь шанс быть услышанным в гуле толпы, надо говорить по возможности тихо.

ОН не был во всем согласным моим отражением. ОН мыслил независимо, что особенно меня забавляло, и я с любопытством следил за ходом его рассуждений.

Мы подошли одновременно к порталу Школы Святого Георгия Скъявони. Войдя во внутрь, нас объяла тишина магического пространства, по периметру которого расположились девять картин венецианца Витторио Карпаччио.

Они возникали из прозрачного сумрака прошедших времен. Их изображения подступали к нам вплотную, окружали нас, нисколько не стесняя, напротив, умножая чувство свободы и безмятежности. Отчего же так спокойно на душе? Слово мир с его суетой и тщетой отступил, не смея тревожить своим безрассудством пространство, в котором время протекает по законам иного бытия.

— Ибо здесь, — сказал ОН, угадав мой вопрос, — обитель бессмертия. Время здесь не течет и оно не остановилось, его здесь нет. В этом месте ты в дне сегодняшнем, равно как и в прошедших столетиях в одной протяженности. Загадочная энергия этого пространства не утекает, а только умножается. Покуда картины, написанные мастером, там, где они есть, это пространство будет оставаться местом духовного поиска скрытой истины. Смотри! — и одним движением мысли ОН замкнул девять полотен венецианца в кольцо.

Картины «Видение Св. Августина» и «Св. Георгий, поражающий дракона», размещенные Витторио Карпаччио на противоположных друг от друга стенах пять столетий тому назад, впервые встретились лицом к лицу. И произошел момент истины в своем великом значении пророческого предвидения. Как же столь очевидное ускользало от меня раньше... ОН успокоил меня, сказав:

— Разум этого не постигает лишь потому, что здесь необходимо применить другое восприятие — чувственное. Ты обладаешь им, но иной раз забываешь об этом. Нужно уметь читать знаки. Созерцай и постигнешь.

Две картины, давно каждая сама по себе знакомые, предстали передо мной в виртуальном диптихе, приобретя иное содержание и значение.

Как правило, осмотр картин Витторио Карпаччио начинается всегда с первой, висящей слева при входе, «Св. Георгий, поражающий дракона». Это совершенно естественно, ибо соответствует культурной европейской традиции чтения (смотрения) слева направо.

Но странным кажется другое, почему художник поместил первую картину, написанную пятью годами позже «Видение Св. Августина», размещенную последней в ряду картин, и таким образом оказавшейся справа от входа в Школу.

Не тут ли таится разгадка потаенного замысла мастера: скрыть до поры неизбежность встречи лицом к лицу в нужной точке истории прорицателя Св. Августина с воителем Св. Георгием. Визионерский взгляд художника предвидел грядущие разрушительные перемены?

Он поощрил направление моего поиска.

Из метафорического пронизанного светом интерьера великой эпохи, в котором нашли место все символы достигнутого человеком величия в искусствах и науках, Святой Августин зрит Святого Георгия, призванного поразить нового дракона: Эпоху, коварством, ложью и преступной дерзостью возведшую на некогда славный пьедестал искусств ликующую посредственность и торжествующее ничтожество. Он преврал мою патетическую эскападу, и начал говорить о роли метафизического присутствия собаки в картине «Видение Св. Августина», говоря:

— В процессе эволюции собака приобрела качества, которых не достиг человек. Прежде всего, сверхчувственное знание о будущих событиях. За невозможностью научного объяснения, человек снисходительно назвал это знание «шестым чувством».

Необходимо задуматься, почему художник в интерьере, плотно заполненном предметами, освободил практически всю левую часть холста, чтобы поместить в свободном пространстве маленькую собачонку?

Гений ничего не делает просто так. Не есть ли ее пристальный взгляд, направленный к свету, льющемуся из окна, ее собачьим прозрением явления Святого Георгия, переданное Святому Августину, умевшему понимать язык животных и растений. В его фигуре Витторио Карпаччио уловил миг волевого сигнала к движению.

Стопа его правой ноги, выдвинутая из-под платья, еще не нашедшая упора, равно как и рука с пером, оторванная от письма, зависли в устремлении к окну.

И для того, чтобы этот миг стал вечным, как обещал Ангел в Апокалипсисе, гений подсказал художнику «контрфорс». Эту роль выполняет собака, сидящая словно сфинкс. С упором передних лап в пол, она двумя, падающими к ней тенями, в натяжении сдерживает стремление Св. Августина, парадоксальным образом усиливая его. И своей упрямой статикой контрастно усиливает мощь и динамику Св. Георгия и его коня, которые уже находятся в фазе атакующего действия...

И тут я прервал Его, язвительно заметив:

— Не ты ли мне говорил, что все это не поддается вербальному определению, а сам занялся умственной риторикой...

Он не дал договорить, сказав, что у человека нет иного инструмента, кроме языка, который может подтолкнуть его к чувственному мистическому постижению вещей.

— И вообще художник противоречив. Свойство, которое для людей иной профессии непозволительная слабость, неизбежное и позитивное качество художника. Противоречие — живая жизнь искусства. Универсальной истины в нашем ремесле нет и... — И в это время два бронзовых стража за моей спиной ударами в колокол вывели меня из сомнамбулического оцепенения и я стал свидетелем Апокалипсиса в овеществленной физической форме.

Справа, со стороны Старых Прокураций и много возвышаясь над ними, выплывал очень медленно, оттого еще более устрашающе, исполинский белый монстр.

Нет, это не был спасительный Ноев ковчег, но закамуфлированный под него «Троянский конь». Его агрессивная несо-

размерная городу масса пожирала и унижала на своем пути великие образы.

Сначала исчезли в его пасти собор Святой Марии Салюте вместе со старыми таможнями, затем и вся лагуна. Вот он уже поймал налету и начал пожирать парящий остров Св. Джорджо Маджоре...

Собор Святого Марка, Дворец Дожей, две колонны — символы Венеции, и Старые Прокурации, словно по воле злого чародея превратились в карликовые строения. Неистовая толпа на набережной и бесчисленные «твари по паре» на всех этажах белого монстра, щелкая затворами и сверкая глазами вспышек фотокамер, слились в катарсисе триумфаторов.

Впечатляющее зрелище торжества массы над хрупкой гармонией и беззащитной красотой. Это был уже не шум толпы, а зримая метафора гибели европейской культуры и ее, возможно, самого выразительного воплощения — Венеции. Осознание своего бессилия, нравственного и физического тем более, возвало к врожденному инстинкту самосохранения.

Я трусливо закрыл глаза. И тут мне вспомнился старый анекдот, который прозвучал как притча:

«И случился мировой поток водный. Абрам стоял на крышке своего домишки, истово молясь Господу. И вода поднималась. И вот она уже плещется у ног его. Проплывает лодка, и люди, взывая к Абраму, говорят:

— Приходи, к нам, Абрам, есть место для тебя.

— Плывайте, плывите прочь, богоотступники, Господь меня спасет.

И вода умножалась и вот уже покрыла ноги его. И проплывает вторая лодка, и люди взывают к Абраму, говоря:

— Есть место для тебя. Приди к нам.

— Прочь, неверные, меня Господь спасет.

И вода весьма умножилась, и борода Абрама уже плещется в ней. И проплывает третья лодка, и люди взывают к Абраму, говоря:

— Войди в лодку. Вот место для тебя.

Проклял их Абрам и утонул. И предстал он перед Господом, ропща.

— Господи, разве не провел я жизнь свою в молитвах к Тебе, разве не чтил Твои заветы, разве не соблюдал и не радовался праздникам Твоим? Отчего же Ты погубил меня?

И ответил ему Господь:

— Не я ли трижды посылал тебе лодку.»

Нужно уметь читать посылаемые нам знаки, напомнил я себе уже не в первый раз в этот день. Остаться на Пьяцетте я больше не мог и вернулся в гостиницу. В номере было прохладно и сумрачно. Работал кондиционер, и тяжелые шторы были задернуты. Я встал под горячий душ. Стоял, не шевелясь, чувствуя, как сильные струи воды очищают меня.

Было еще рано, но выходить не хотелось. Я залез под одеяло и, кажется, быстро уснул.

Этой ночью нелепые сновидения, сменяя одно другое, тревожили меня. Снилось будто бы человеки, внезапно придя в сознание, прозрели и обрели разум. Ужаснулись миру вокруг себя. Узрели просветленным разумом, что духовная цивилизация уже давно движется с устрашающим ускорением в обратном направлении: к варварству, беспримерной жестокости друг к другу, к пещерному сознанию, культурному дебилизму.

В осознании скорой планетарной катастрофы собрались и сели человеки за огромный «круглый стол овальной формы» не для блудливых, сентиментальных, патетически лицемерных колебаний воздуха, а с единственной целью всем миром восстановить вертикаль духовной эволюции, где в былом она уже достигла ошеломительных культурных высот.

Председательствовал незаконнорожденный человек по имени Леонардо из небольшого поселения в Тоскане — Винчи. Он всегласно был признан тем, кто воплотил в себе абсолютное достоинство человека свободного духа, явив миру гений в науках и искусствах, гармонию их параллельной эволюции.

И начали человеки свое первое собрание с того, может же такое привидиться, чтобы выработать законы, защищающие неприкосновенность уникальной красоты с чудным именем Венеция, которая изо дня в день уже многие годы подвергается массовому насилию и надругательству со стороны черни всех цветов кожи со всех континентов.

Признать Венецию Венцом творения человеческого восторга и гения. Создать и ясно сформулировать кодекс и тесты нравственного и этического свойства без сдачи строгого экзамена, по которым никому не было бы дозволено явиться непрошенными примерять ко лбу нерукотворный Венец.

Мне удалось прочесть и запомнить несколько вполне нелепых установлений, записанных световой строкой в пространстве: изгнать из храма торгашей и фарисеев (мне вспомнилось, что когда-то это уже имело быть).

Очистить Пантеон великих людей прошлого от наглой и ненасытной саранчи, нарцистических блудодеев, воинствующей бездарности, загадившей экологически чистую духовную атмосферу города, сделав Венецию невольной соучастницей своих пошлых преступлений, которые поименовали «венцианским бьеннале современного искусства», осквернив своими экспериментами великое наследие предков. Именно так и было записано.

И далее: вернуть Венецию ее генетическим наследникам венецианцам. Восстановить их статус хозяев дома. Гондольерам вернуть их певчие голоса и лирические мелодии баркаролы, а гондолам их изначальную функцию средств передвижения по городу. Было еще много записано замечательных глупостей...

Проснувшись рано, я вышел из гостиницы. Эхо моих шагов, падая с горбатых каменных мостов, тонуло в темной, оттого кажущейся вязкой, воде каналов спящего города.

Я шел к железнодорожному вокзалу, чтобы покинуть Венецию до рассвета.

Русскоговорящая Дарья

Изнывая от вынужденного безделья, я по утрам выходил из пансиона мадам Бетины, через который, как говорят, прокатилась вся третья волна русской эмиграции.

Праздно бродил по венским улицам, нисколько не смущаясь своим безразличием к одному из самых красивых городов Европы. Вздрагивал, слыша русскую речь. Оглядывался...

Так однажды встретил своего давнего приятеля, с которым в молодости валял дурака на алупкинском пляже в Крыму. Он был славный парень. Я обрадовался встрече.

— Вы говорите по-русски? — с таким картавым вопросом обратилась к нам улыбочивая девушка. Мы, два советских неуча, конечно же, говорили по-русски в австрийской столице.

Ее звали Дарья. Австриячка хорватского происхождения, педагог русского языка в начальной школе.

С этого момента моя жизнь в Вене приобрела смысл, перспективу, вкус и цвет. Эти «аксессуары» Дарья принесла в пузатой сумочке в квартиру, которую снял для нас Толстовский фонд, взявший семью на свое попечение до получения разрешения на въезд во Францию, куда я стремился.

В этот период отчаяния, непроходящих тревог неизвестности я охотно доверился Дарье. Она знала все мои помыслы, сомнения, страхи, мечтания. С энергией предназначения она начала организовывать мою жизнь. Я не скрывал, например, что тоскую от невозможности заняться живописью. В нашей карликовой квартире это было просто невысказано.

Однажды Дарья предложила прогуляться в венский район Шенбрунн. Предложение было сделано необычным для Дарьи — энергичным, почти командирским манером, а как бы между прочим, вяловато. Я с удивлением взглянул на нее. Чувство подсказало, что не летние резиденции австрийских кайзеров хочет показать мне Дарья. И не ошибся.

Мы вышли из трамвая в дачном районе, прошли немного пешком и оказались перед калиткой, за которой на ухоженной зеленой поляне я увидел чудный деревянный домик с мезонином под номером тринадцать. Этакая австрийская рождественская открытка с пожеланием счастья.

Этот домик Дарья преподнесла мне в дар, и он стал моей мастерской. Уже через несколько дней в нем стоял волнующий запах терпентина и масляной краски. Он уносил меня на своих эфирных крыльях в мою покинутую минскую мастерскую и дальше, в сладкие довоенные годы детства — в мастерскую моего отца...

За окном шел снег. Последний, очевидно, в году, мартовский. Редкие большие хлопья лениво кружили в вечернем

воздухе. Пушистые, с рваными краями они парили словно белые мотыльки в первозданной чистоте темного неба, нежные светло-матовые в певверном свечении над городом, и почти черные на фоне ярко освещенных окон.

Эта живая картина в оконной раме как-то особенно успокаивающе согревала душу, навевая тихую грусть. *Memento mori!*

Звонок в дверь грубо прервал лирическое созерцание. Я пошел открывать. Это была Дарья. Запорошенная снегом, улыбающаяся, она напоминала добрую фею, каковой, собственно, и была для меня. Легкие снежинки быстро таяли, оставляя на ее лице влажные следы. Не проходя в комнату, она прямо с порога объявила:

— Я взяла термин (свидание) с директором «Альбертины» господином Кашацким.

Надо пояснить, что музей «Альбертина» обладает крупнейшей в мире коллекцией рисунка, гравюры и акварели.

— И что ты будешь показывать господину Кашацкому? — не без сарказма спросил я. — Ты нашла на блошином рынке неизвестный рисунок Гольбейна, акварель Дюрера или альбом офортов Рембрандта?

— Мы будем показывать твои офохты, — с пафосом неискушенного дилетанта сообщила Дарья.

В назначенный час она со мной, точнее я с ней — Дарья держала меня крепко за руку — стояли перед дверью, которую, помнится, видел несколько тысяч лет назад в храме филистимлянском, и которую позже Самсон унес на своих плечах на гору библейскую.

Я думал, как такую тяжелую и высоченную дверь возможно открыть обыкновенному человеку. И еще я... не успел подумать ничего, как эта дверь начала бесшумно открываться усилиями не очень молодой хрупкой дамы. Дама пригласила нас войти во внутрь.

«Внутри» представляла собой необъятных, как мне запомнилось, размеров зал, залитый светом, падающим из выстроившихся в ряд высоких стройных окон на противоположной от двери стене. В зале — стол. Я, провинциал, и не подозревал,

что столы вообще бывают таких размеров. Он уходил, убывая вдаль, как взлетная полоса.

Дама предложила нам положить офорты на эту «взлетную полосу». Писательское дело — не мое ремесло, по этой причине я воздержусь живописать словами эмоции, которые пережил, когда увидел свои сиротские гравюры в этом величественном, как храм, пространстве. Я хотел лишь провалиться сквозь дубовый паркет и чтобы он сомкнулся над моей лысой головой. Дарью в этот момент я ненавидел.

Вскоре в противоположном конце зала открылась маленькая дверь, которую я раньше и не заметил. Из нее вышла группа людей. Впереди шел господин Кашацкий, директор «Альбертины», за ним, надо полагать, — эксперты.

Они поздоровались с нами. Уже знакомая нам дама предложила мне с Дарьей выйти. В коридоре я почувствовал себя больше на своем месте и начал искать глазами возможность побега.

Дарья крепко держала мою левую руку выше локтя. Она как-то догадывалась о моем намерении. Сидели мы вечность в ожидании приговора.

Наконец, дверь также мягко открылась и та же дама пригласила нас войти. Эксперты остались у стола, а господин директор пошел нам навстречу и, не глядя на меня, начал что-то говорить Дарье быстро и энергично. Я косился на Дарью, пытаюсь понять, о чем они там... но ее лицо было серьезным, не предвещающим хороших вестей.

Я уже немножко ненавидел и господина Кашацкого. Моя неприязнь к нему не успела еще укрепиться в сердце моем, как вдруг лицо Дарьи начало расплываться в улыбке и затем, словно механическая кукла, она начала в такт словам господина директора кивать головой.

Взглянув в мою сторону, скороговоркой перевела долгий разговор одной содержательной фразой: «Они купили у тебя все». Я успел еще удивиться тому, с какой быстротой моя неприязнь расцвела цветом нежной любви и к Дарье и к господину Кашацкому.

Я получил убедительное подтверждение тому, что тривиальность часто ближе всего к истине. «От ненависти до люб-

ви — один шаг»... и того меньше. Он пожал мне руку, и мы с Дарьей ушли, оставив на «взлетной полосе» восемь офортов к повести Достоевского «Кроткая».

Французская виза запаздывала роковым образом. Замечательная, добрая мадам Кёрк, директриса Толстовского фонда, опекала нас уже седьмой месяц. Мы знали, что это необыкновенная привилегия. Однако нужно было сделать выбор.

Мадам Кёрк советовала нам Нью-Йорк, у нее были там связи. Она была женой американского посла при ООН в Австрии. Она любила нашу семью.

Я дрогнул. Попросил Дарью попытаться взять свидание с господином Кашацким. Я уже доверял ему, мне нужен был его совет.

И он меня принял. Я спросил его, коль скоро Франция не дает мне разрешения па въезд, возможно, мне следует остаться в Вене. Я был слаб и не уверен в себе в этот момент жизни. Дарья перевела мне ответ господина Кашацкого.

— Лучше быть последним художником в Париже, чем первым в Вене.

Через несколько дней мы получили разрешение на въезд во Францию. А спустя пять лет Дарья мне сообщила о смерти господина Кашацкого. Пусть земля ему будет пухом.

Мария Мокеева

Пензанс

Там, где чайка осторожно летает между морем соленой воды и озером пресной, где стоит дом художника, в котором живет медсестра пензанской больницы, начинается этот английский город.

От каменных утесов и клонимых к земле сильным ветром деревьев рождается его пространство, и чем дальше на запад вас понесут ваши плоские стопы, тем ближе вы окажетесь к серым домам, что стоят послушными рядами, словно надгробные памятники на протестантском кладбище.

Если раньше вы не думали лишний раз про далекую Вторую мировую, то тут, стоя на высоком холме и оглядывая эти обитаемые обелиски, вы скорее всего представите, как и я, немецкие бомбардировки, уничтожавшие десятки таких же городов-близнецов, состоящих из серых домов и параллельных улиц.

Зеленые холмы с протоптанными дорожками — возможно, это было последнее, что видели из окна местные жители. То ли от ветра, то ли от нахлынувших образов из военных фильмов заслезилась глаза.

Каждый субботний вечер мы — я, тетушка и дядюшка — отправляемся в церковь слушать орган, фисгармонию, скрипку и виолончель. Перед концертом или после мы сидим на лавочке под каменными стенами и едим корнуэльский пирог с мясом и картофелем. Напротив лавки, обозначая границу церковного кладбища, стоит дуб: широкий, богатый и муд-

рый. Воздух двинется — и шепчет что-то, но не тебе, сидящему на лавке, а проливу Ла-Манш или могильной траве.

На полусогнутых спускалась я с горки по Leskinnick Terrace, когда услышала пение женщины:

— Что бы ни было в начале, утолит он все печали, вот и стало обручальным нам Садовое кольцо...

Нервно оглянувшись, я увидела в начале улицы вывеску «Sea food safe», что лишний раз подтверждало: я не в деревне Ахтырки, и даже не в пределах московской кольцевой. Женщина стояла около прачечной и, подставив лицо солнцу, от души распевала советский хит.

— Здравствуйте! — мое бодрое русское приветствие звонко прозвучало в уставшем от ветра воздухе.

Женщина обернулась и на ее удивленном лице появилась широкая улыбка Марии Магдалины.

— Привет!

Она подошла к забору.

— Вы тут живете?

— Где тут? — поморщилась. — В прачечной нет, не живу, что ты. На другом конце города живу.

— Здорово, а я в гости сюда приехала.

— Из Москвы?

— Почти. Из Подмосковья.

Она закивала.

— Мне очень жаль, я тороплюсь. Можно, я как-нибудь к вам зайду?

— Давай, конечно, буду рада.

Я помахала ей и двинулась по каменным лабиринтам искать церковь. Легче всего было идти до упора прямо, до большой воды, а потом по набережной дойти до церкви, которая находилась чуть выше, словно маяк, крепость или наблюдательный пункт.

Ла-Манш, который я про себя называла морем, был спокойным. Но безветренная погода здесь редкость, поэтому изо дня в день мне приходилось таскать повсюду рюкзак, где лежали зонт, куртка и даже шапка, несмотря на то, что был сентябрь, и мы находились недалеко от Гольфстрима.

— Мне кажется, мое поколение избалованно домашним уютом. Эти чуваки получают громадное удовольствие от покуривания травки в общаге. Такие гордые блаженные рожи, на которых написано: «Мы такие же brutальные, как ребята из девяностых», — говорю я на следующий день Наташе, прачке с высшим образованием.

— Все так делают в юности.

— А потом?

— А потом начинаешь скучать по тем временам, когда тебе было пятнадцать.

— Когда мне было пятнадцать, пиком моих достижений было попадание в городской клуб на дискотеку. Я пила пиво с двадцатилетним охранником и тащиась от самой себя.

— Вот-вот. Возможно, это был самый блаженный момент в твоей жизни.

— А у вас что было?

— Цветы от главного редактора, когда была стажеркой в маленькой республиканской газете.

— В пятнадцать?

— Ага. Я еще в школе стала работать. Что ты, меня там так гоняли! Вандерфлит, мой редактор, до слез меня доводил. А вообще утомительная это профессия, одна суета. То есть тогда с головой уходили в работу, но к какому-то моменту усталость накопилась, — вздохнула. — А здесь как в санатории.

На следующий день мы ездили к тетушкиным знакомым, Мерил и Альберту. У Мерил маниакально-депрессивный психоз. От продолжительной болезни у нее выпадают волосы и сильно болит голова, но в хорошие дни она заливается смехом каждую минуту, и даже когда на тебя просто смотрит, кажется, что никто не относится к тебе лучше, чем эта странная лысыватая женщина.

Их дом стоит на окраине небольшой деревни. После чая мы пошли гулять по пастбищам. Обходя навозные кучи, забрались на гору, где открывался вид на море.

— Нам непременно нужно дойти до камней! — сказала Мерил, и мы отправились по узкой тропинке сквозь густой ку-

старник туда, где лежали огромные каменные глыбы, похожие чем-то на Стоунхендж.

Пейзаж открывался — удивительный.

— Такое замечательное место, — говорю я в искреннем порыве. — Мне бы хотелось жить здесь в старости.

— Как приятно слышать! — смеется Мерил. — К тому времени нас с Альбертом не станет, и ты сможешь купить наш дом. Мне будет удобнее лежать под землей, зная, что в моей комнате спит такая хорошая девушка.

Я не стала строить предположения, что к старости могу стать крикливой бабой с потными ладонями и толстыми ляжками, и что, возможно, Мерил не понравится такое положение дел, даже если ее положат в гроб в позе эмбриона, а под голову сунут две подушки. А вдруг я буду ходить по дому в грязных ботинках, держать пять кошек и покуривать маковые головки, позволяя Венерипым слезам подвергнуться процессу испарения? Особым развлечением могло бы стать посещение соседей в русском национальном костюме.

— Что бы ни было в начале, утолит он все печали, вот и стало обручальным нам Садовое кольцо, — начинаю петь я.

Мерил и Альберт смеются и пытаются повторить. Дядюшка достал бутерброды. Джейн Остин нас бы не оценила: ни одного жениха и красивой шляпки.

На другой день шел сильный дождь. Все сидели дома, а мне хотелось поговорить с Наташей. Остальные говорили со мной о чем угодно, только не о себе самих. В этой стране будто неприлично говорить о своих чувствах, если только это не впечатления от новой постановки «Травиаты».

Я надела непромокаемую куртку и резиновые сапоги, которыми поделилась запасливая тетушка, и пошла вниз по улице к Leskinnick Terrace. Перешагнула низкую калитку, постучала в дверь. Дождь лил не переставая. Какая-то птица сидела во дворе под нижними ветками карликовой ели и время от времени отряхивалась, вздрагивая всем телом. Толкнула дверь и вошла в прачечную. Наташа сидела на низком подоконнике и курила, стряхивая пепел в вазочку с надписью «cossaine». Фарфоровая посудина была расписана под гжель.

— А, моя девочка, здравствуй. Заскучала в этом царстве Аида? Чаю?

— Давайте.

Прошло часа полтора, прежде чем наш разговор стал замедляться и скатываться в междометья. Я подошла к стиральной машине. На ней лежала пачка «Цитрамона». За окном застыл туман, розовый от преждевременного заката...

Потом я заболела. Утро начиналось с холодного пола, по которому я словно в наказание доходила до стола, включала лампу и производила нехитрые манипуляции — сворачивала горло колбе и набирала шприцем лекарство.

Таинственная тишина и комнатная стужа равнодушно прикасались к телу, а яркий свет показывал его зеркалу во всем материальном несовершенстве — с синяками, дряблостью на бедрах и волосяной дорожкой от пупка вниз. Рука всегда дрожала. Мне представлялось, что от ее мелких подергиваний шприц в теле тоже ходит из стороны в сторону ходунком и отсюда такая боль.

Я сидела дома, за окном дул ветер и лил дождь, родственники то приходили, то уходили. Я жила в гостиной, в которой семья обедала, смотрела телевизор. Там же стоял компьютер.

В комнате были высокие окна, выходящие на узкую улицу. На первом этаже квартировали жильцы — каждому сдавалось по комнате — это была большая часть доходов дяди и тети. Кухней пользовались все вместе, в единственном холодильнике у каждого была своя полка.

Когда мы с тетушкой готовили ужин, в одном ритме переминаясь с ноги на ногу под музыку из радиоприемника, жильцы шли ужинать в кафе. Посуду мы мыли особенным образом: набирали в таз воды и, окуная туда тарелку или чашку, протирали их губкой. Всю посуду нужно было помыть в одном тазу. Потом следовало набрать чистой воды и ополоснуть все.

Дочь дядюшки, моя кузина Сара, училась в колледже на первом курсе, и это было единственной темой для наших бесед. «Ну как дела на учебе?» — спрашивала я. «Отлично!» — Сара улыбалась и переводила взгляд на стеллаж или на часы.

Наверно, надо пояснить, откуда у меня такая многонациональная семья. Девять лет назад тетушка вышла замуж и уехала из России. Она познакомилась с будущим супругом, вторым в ее жизни, на форуме, посвященном пешим прогулкам по старой Европе.

Так, где-то в узких улочках Праги, а, может быть, Вероны они полюбили друга. С тетей мы отводили душу, говоря на родном языке, а со всеми остальными, помимо милой Наташи, курящей Marlboro, мне приходилось сосредоточиваться, как на экзамене.

Иногда с тетей мы ходили в столовую для пенсионеров. Мы подсаживались к какой-нибудь старушке, которая в одиночестве жевала свой рис, и вежливо спрашивали, как она поживает.

Говорила, конечно, в основном тетя, я играла роль заинтересованного слушателя, представителя молодого поколения, готового внимать мудрости древних. «Ах, дорогие, — говорила одна, — вы такие красивые. Но и я еще ничего! Вчера сосед принес мне букет хризантем, которые он вырастил в своем саду».

Какие развлечения в таком городке? Библиотека с небольшим, запущенным садом, где беспорядочное расположение растений есть суть всех вещей, ни больше ни меньше. Пляж, по которому в любую погоду кто-то бродит.

Но вот церковь, прятая от шквального ветра за несколькими домами, была настоящей агорой, местом, где встречались вечерами, чтобы послушать небольшой оркестр, исполняющий Мендельсона или Брамса.

Одевались скромно, но чуть лучше обычного, встречались с друзьями пораньше, чтобы выпить поблизости кофе или чего покрепче, а заплатив несколько фунтов, в полголоса продолжали беседу, устроившись на деревянных скамьях, поставив ноги на удобную подставку и время от времени перелистывая казенный молитвенник, не глядя в книгу.

Некоторые семьи задерживались после концерта и, как мы, сидели на прицерковном кладбище с поздним скромным ужином в бумажном пакете.

Когда я оправилась от болезни и смогла выбраться, я встретила в церкви Наташу. Она была со своим мужем.

Думаю, мало у нас — я имею в виду, в нашей стране — таких мужчин: покладистых, тихих, безгранично спокойных и без навязчивых идей. Он был похож на рыбу, которая плывет и плывет, получая удовольствие от одного только равномерного движения своих плавников. Наташа, такая уверенная в себе, имеющая ответы на все вопросы, немного резкая и с трудом предсказуемая, отлично ладила с таким мужчиной. Он соглашался со всеми ее решениями и занимался исполнением утвержденных планов так, чтобы все вышло как можно лучше, быстрее и дешевле.

Они жили в таком же доме, как мои дядя и тетя, сдавали комнаты на нижнем этаже двум разведенным мужчинам, и были вполне довольны.

— Здравствуйте, юная леди, много о вас слышал, — сказал Наташин муж, — как вам концерт?

— Добрый вечер! Я думаю, он был очень хорош, но мне жаль, что не было органа, — ответила я, научившись за многие дни искусству бессодержательного разговора.

— Говорят, органист повредил ногу, когда ловил рыбу, — улыбнулся он.

Наташа засмеялась и погладила его по руке. Потом обратилась ко мне по-русски:

— Давай завтра погуляем, покажу тебе отличное место. В шесть вечера у книжного магазина Дэвида, идет?

— Идет!

Магазин Дэвида — книжная лавка одной семейной пары на центральной улице. У продавщицы, работавшей там по средам, четвергам и пятницам, невероятно яркие синие волосы. Недавно я выяснила, что она любит Булгакова и Толстого. Даже начинала учить русский язык, но быстро сдалась.

— Вам не скучно с таким мужем?

— Раньше было бы скучно, а сейчас — то, что доктор прописал, — ответила Наташа.

Мы дошли до конца мостовой и ступили на протоптанную дорожку. Слева — дома, но не такие, как в самом городе, а похожие на подмосковные дачи — деревянные, с большими огородами. Их совсем немного, очень скоро по левую руку от нас будет только земля с непыльной травой, да небо, справа — обрыв, узкая песчаная полоса и море.

— А у тебя есть друг? Двадцать лет — самое время для первой любви.

— Есть. Пишу ему письма отсюда раз в неделю. Через день шлю открытки.

— А не слишком? Лучше пиши письма подружке, пусть парень соскучится.

— А с кем вы тут общаетесь, кроме мужа?

— Ну, с подружками в интернете. С друзьями мужа. Они иногда приходят на ужин, распивают с нами бутылку вина, не засиживаясь, и в то же время, знаешь, не торопясь никуда, уходят ровно тогда, когда нужно. Удивительная английская вежливость. Иногда думаешь, правда ли они так ко всем хорошо относятся? Или это какое-то лицемерие?

Через минуту снова заговорила:

— Есть тут несколько русских женщин — твоя тетя, с ней я не знакома, и Вероника. Но Вероника очень суетливая и любопытная для того, чтобы с ней часто видеться без вреда для мозга.

Наташа достала сигареты. Мы спустились к воде и шли вдоль моря. Галька постепенно перешла в череду больших камней, блестящих, отполированных волнами. Солнце садилось, начался прилив. Вода холодная.

— И что ты пишешь ему в письмах? — спросила Наташа, выдыхая дым.

Вода тоскливо накатывалась на берег.

— Смотри, Барбос.

Черная собака выбежала откуда-то сзади и побежала впереди, играя с водой. Она то напрыгивала на волны, то убегала от них как можно дальше.

— А когда ты уезжаешь?

— Послезавтра. Завтра вещи буду собирать.

— На самолетах не боишься летать?

— Совсем не боюсь. Одна беда, правда, не могу там спать. А как бы все упростилось — сел, заснул, очнулся...

— Гипс!

— Да, — улыбаюсь. — Скучаете по советским фильмам? Я помню, вы и песню тогда из кино пели.

Наташа опустила голову.

— Конечно... здесь их не посмотришь. А скачивать страшно — накажут.

— Да ладно! Откуда кто-нибудь узнает?

— Что ты! Узнают, — сказала Наташа и, как мне показалось, даже отошла от меня подальше. — Здесь узнают. Вычислят.

Она остановилась.

— Слушай, я не помню, где тут следующий подъем.

— Мы же гуляем, какая разница?

— Вода где-то минут за сорок — за час дойдет до обрыва. И чего делать будем? Барахтаться?

Мы ускорили шаг. Потом побежали. Вдруг услышали, как заскулила собака. Все это время она бежала впереди нас, весело прыгала по скользким камням, воспринимая морскую угрозу как приключение. Но вода сбила ее с ног. Собака ударилась о камень, и следующая волна накрыла ее с головой. Ветер набрасывался на сушу все яростнее, вода нехотя становилась его союзником. Собака вынырнула, но тут же ее накрыла следующая волна.

Мы побежали. Я была словно обута в грелки. Ветер стал дуть без передыху. Наташа бежала впереди, не знаю, откуда у нее было столько сил.

Наконец мы добрались до лестницы. Поднявшись наверх, сели на скамейку, поставленную в память о ком-то — на ней была табличка, на спинке вырезан узор. Наташа, тяжело дыша, облокотилась, вытянула ноги.

— Вот тебе приключение под конец путешествия. Напиши об этом другу.

— Хочу последнее отправить из Лондона.

— Лондон... семь часов аля-улю.

Ветер немного стих. Стало слышно, как вода бьется о камни. Позади послышался какой-то шорох, но от усталости и пе-

режитого волнения мы даже не повернули головы. Боковым зрением я увидела мужчину. Он шел вдоль обрыва, оглядываясь. Наташа тоже стала смотреть в его сторону.

— Приятно смотреть на людей, которые просто гуляют. Они получают удовольствие от таких простых, естественных вещей... это будто делает их лучше.

Мужчина снова оглянулся и прыгнул с обрыва вниз, на камни, еле скрытые под прибывающей водой. Он лежал на них, а солнце накалялось, пока не стало бордовым и не окрасило небо в красный, золотой и сиреневый.

Мы услышали хриплый лай. Наша собака подплыла к самоубийце и начала облизывать его лицо. Вызвали скорую.

В Лондоне я долго искала почтовое отделение. Здесь не так уютно, как на пензанской почте... времени больше нет, я сейчас заклею конверт.

До встречи в Москве, дорогой, обнимаю, скоро увидимся.

Анатолий Горюшкин

Колесо обозрения¹

Медведь пробуждается от зимней спячки. В берлогу, покрытую шапкой подтаявшего снега, проникают звуки и запахи весны.

Только в моей берлоге все еще по-зимнему сумрачно. Положив небритую щеку на лапу, я жду какого-то сигнала извне — он, как мне кажется, освободит меня от мути надоевшего зимнего сна.

Мир кружится вокруг меня — или я на каком-то чертовом колесе кручусь вокруг него?

Не знаю...

Я — сплю, а мир — бодрствует. Мир — спит, а я — бодрствую. И вместе нам не сойтись.

Надув щеки, как гарнизонный служака-горнист, черный грач, севший на ветку возле моей берлоги, просигналил «Подъем!»

Я вздрогнул. Открыл глаза.

Моя неудобная зимняя берлога оказалась кабиной колеса обозрения.

Явь это — или очередной сон?

Колесо обозрения завершило свой круг. Зимние сны, как надоевшие гости, с трудом оставляют меня.

Я спрыгиваю с колеса обозрения на землю. И делаю первый шаг — навстречу весне и своим воспоминаниям, которые,

¹ Продолжение. Начало в №248 — 2013 г. — Ред.

как бездомные собаки, бегут следом за мной и заглядывают в глаза своего будущего хозяина.

Жизнь прошла мимо тебя, как безлика тайна, лениво прошлепала своими растоптанными войлочными шлепанцами — и исчезла.

А ты, как беспечное дитя, все еще спускаешь на воду по ледяным стапелям марта бумажные кораблики своих стихов.

Бесноватых не вылечить разговорами о совести и правде. Они давно уже превратились в стадо свиней. Они сожрали все, что попало на их пути. Если надо, они сожрут и самого Бога. Топиться в озере или в море они, конечно, не собираются.

Иногда устаешь от мелкой философии на глубоких местах.

Софизмы, афоризмы, трюизмы — слова нерусской окраски, чужаки в нашем лесном и степном мире, где голос кукушки приравнен к голосу ветхозаветного пророка, а деревянная полусгнившая избушка Бабы-Яги соперничает в глубокомыслии с мраморными дворцами афинской Академии.

Платон — нам друг, но корявая, в лаптях и в заношенном лапсердаке ковыряющая в своем носу истина нам завсегда дороже. И даже не истина, а свод каких-то расхожих наблюдений, примет и правил, вызывающих нередко тоску и зевоту. Отпущенный скупой историей наш постоянный «продуктовый набор».

Я сижу рядом с водителем в кабине грузовика, который, расплескивая дорожную грязь, движется из Южно-Сахалинска в Аниву.

Конец сентября. Вечер.

Только что над островом, заливая города и веси, пронесся осенний циклон. «Сахалин — не сахарин», — бормочу я, подпрыгивая на ухабах разбитой дороги. Она только-только освободилась от потока воды, а небо очистилось от мутной завесы дождевых туч и радует глаз россыпью ярких, свежих, отмытых от земной копоти звезд. Я с любопытством и тревогой всматриваюсь в это небо, оно совсем иное, чем в родном Подмосковье. Южное, темное, таинственное.

Мне кажется, когда-то очень давно я видел эти мерцающие звезды над палубой моего парусника в Японском море, над головой моего низкорослого коня, одолевающего монгольские степи, над крышей древнего храма, в котором я, упав на колени, целовал золотые пальцы Будды.

Непонятное волнение, озноб, тревога, восторг. А по краям едва выступающей из мрака дороги молчат залитые водой поля, островки деревьев, одинокие дома с желтыми от керосиновых ламп окнами.

Так начиналось мое знакомство с островом Сахалин.

Это имя было знаковым. Оно открывало дверь во что-то заповедное, где суровая явь земной истории сливалась с голубой дымкой океана и дальних странствий. Оно звучало, мерцало, манило. И сердце выпускника факультета журналистики дрогнуло. Я сдался на милость победителя. Остров Сахалин вошел в мою жизнь и, кажется, остался в ней навсегда.

Грузовик, как замученная непосильным трудом коняга, лениво плелся по грязной дороге. Усталость брала свое. Я закрывал глаза — осколки недавних дней складывались в причудливую мозаику воспоминаний.

Позади почти десятидневная тоска в поезде «Москва — Владивосток». Пароход «Сибирь». Порт Корсаков на берегу Анивского залива. Южно-Сахалинск, где нас, пятерых выпускников Московского университета, разбросали по нескольким районным газетам. Одна из них — «Сахалинец» — стала концом моего путешествия на край земли.

Но это все — впереди. А сейчас — густая, как деготь, ночь за стеклом кабины, звездное небо над моей головой, а по краям — залитые мертвой водой поля. Такое чувство, словно я только что высадился на землю из Ноева ковчега. Так, наверное, выглядел Божий свет после всемирного потопа. «Сахалин — не сахарин», — бормочу я, перекатывая во рту холодные камешки навязчивых звуков.

И с этой словесной чушью я подъезжаю к деревянной, утопающей в осенней грязи, равнодушной к столичному гостю Аниве.

Песчаная полоска отделяла пыльную выгоревшую землю от прозрачной целины Анивского залива.

Был вечер. Солнце садилось за горизонтом. И август набирал силу.

«А наши девочки что-то запаздывают», — произнес мой сахалинский приятель Анатолий, по-орлиному зорко озирая окрестность.

Он не спеша снял с плеча «мелкашку» и прислонил ее к почерневшему от житейских невзгод пню, выброшенному штормом на берег. Возле него мы и устроили привал. Кстати, несмотря на заветы Чехова, «мелкашка» в нашем сюжете никакой роли не играет, она так и не выстрелит в конце нашей маленькой пьески.

Середина августа — благодатная пора на Сахалине. Солнце прогрело толщу Анивского залива. И он, благодарный за это тепло, как-то особенно кроток и приветлив.

Я всматриваюсь в голубоватую дымку, слегка затуманившую срез горизонта. Я знаю — там, в какой-нибудь сотне километров, пролив Лаперуза, а за ним — японский остров Хоккайдо. Мы находимся на западной окраине Тихого океана. Он дает о себе знать — то неожиданным свирепым штормом с дождем и ветром, а иногда коварным, все сметающим на своем пути цунами. Один из моих соседей как-то рассказывал мне о цунами, свидетелем которого он оказался лет восемь назад. От города Северо-Курильска — он расположен на одном из островов Курильской гряды — после гигантской волны остались рожки да ножки...

Но этот августовский вечер, как благодушный хозяин, распахнул в дружеском приветствии руки и пригласил нас в свои владения. Он угощает запахом моря, которым пропитались водоросли и морская капуста, выброшенные приливом на берег, и солоноватой, терпкой, прозрачной водой. Сквозь нее просвечивает чистое песчаное дно.

Мы входим в воду, преодолеваем десяток метров — и вот уже волна подхватывает невесомое тело.

А может быть, это само счастье заглядывает в наши глаза. Оно совсем близко, но мы не узнаем его. Оно не имеет формы, запаха

и цвета. Оно находится за пределами разума, куда и попасть-то человеку почти невозможно, но так хочется, хочется...

Мы плывем, забыв обо всем на свете. И даже девушки и все, что связано с ними, отходят на второй план. Мы знаем — метров через пятьдесят почти откроется песчаная коса. Она не выходит на поверхность, она скрыта под водой, но так приятно постоять на ней после короткого заплыва, оглядеться, почувствовать упругую плоть морской стихии.

А пока мы удаляемся от берега.

Я пытаюсь измерить глубину. С первой попытки мне не удастся достигнуть дна — вода выталкивает меня на поверхность. Вспомнив уроки ныряния, я иду ко дну вниз головой, помогая себе руками, они, как ласты у тюленя, преодолевают сопротивление воды и заталкивают меня в глубину. И вот уже, когда кончается запас кислорода в легких, я касаюсь пальцами рук холодного дна, делаю резкий переворот и, оттолкнувшись от земной тверди, взлетаю вверх. О счастье! Небо над головой, соленая вода вокруг и чистый воздух, ворвавшийся в легкие.

Мы поворачиваем к берегу. А там, возле рюкзака с бутылками крепленого вина и пакетами со снедью, на расстеленной плащ-палатке, прикрытой шерстяным одеялом и двумя полотенцами, возле прислоненной к почерневшему пню «мелкашки» — нас ждут невесть откуда взявшиеся девушки.

И водная стихия с грустью расстается с хорошими парнями, которые так легко поменяли призрачные дары моря на земные, доступные, проверенные радости.

...Я лежал на снегу, лицом вверх, широко раскинув руки и ноги, без шапки, затерявшейся где-то в темных закоулках между домами, с чистой, как этот снег, совестью, свободной от житейского мусора.

Так, наверное, лежал перед очами Создателя только что сотворенный из податливой глины Адам.

Чуть подмораживало. Небо очистилось от снежных туч. Звезды как всегда вели между собой неторопливую беседу. Я стоял на такой низкой ступени познания Добра и Зла, что тесное общение со звездами было просто невысказано.

Откуда-то доносились обрывки голосов. В соседнем доме звучала музыка. Я поморгал глазами — и вспомнил: «Только что наступил новый шестидесятый год...» Новогодняя ночь неторопливо перешагнула через крыши Анивы и ступила на материк России.

Опираясь руками о землю, я с трудом приподнялся. Еще одно усилие — и я снова в строю. Пошатываясь, подхожу к знакомому дому. Он слегка пошатывается вместе со мной, поскрипывает ступеньками крыльца: «Ничего, брат, со всяким бывает...» Да, именно здесь, в доме моего приятеля Анатолия мы встретили Новый год.

Было весело. Резвясь и играя, как дети, мы выпили бутылку марочного коньяка и, кажется, пару бутылок шампанского. Славная смесь! Она и вывела нас на околоземную орбиту. А потом мы довольно быстро вошли в плотные слои атмосферы.

Помню, какая-то сила понесла нас в районный Дом офицера, где веселилась «золотая» и «позолоченная» молодежь Анивы.

Я был с недавнего времени персона нон грата в этот доме. Мне указали на дверь. И мой приятель был персона нон грата. И ему указали на дверь. Мы забыли про это «нон» и решились сыграть напоследок козырными картами — и сорвать банк. Да и наш постоянный покровитель Амур был на стороне влюбленных — он умело тасовал крапленые карты жизни. Мы забыли закон, гласивший — кому везет в любви, тому не везет в картах...

Далее — туман.

Итак — мы в Доме офицера. Преодолели в дверях сопротивление дежурных. И вот уже, как говорится, с открытым забралом, чуть пошатываясь, улыбаясь знакомым и незнакомым дамам, раскланиваясь с теми, кто еще не записал нас в кровные враги, останавливаемся в дверях танцевального зала. Не уверен, что наше появление стало гвоздем праздничной программы. Все уже были на той стадии веселья, когда небо смыкается с землей, а хор ангелов сливается со звуками гарнизонного оркестра, шарканьем офицерских сапог, гулом разноголосой толпы.

«А где же она?» — достаточно громко, не таясь, спросил я у Анатолия.

Он указал мне глазами куда-то в угол, где возле новогодней ели, мерцающей огнями и несколько опечаленной своей новой судьбой, местные жрицы любви и хранительницы постного семейного очага, подогретые шампанским, смеялись, болтали, словом, делали все то, что и надлежало делать в подобном случае.

Потом — опять провал в памяти.

Я, кажется, танцевал с ней, а это уже выходило за рамки приличия. Помню его глаза. Они расстреливали меня в упор. В них прятались змеи и пули. Храбрая женщина — она и бровью не повела — и все смеялась, смеялась; храбрая — ничего не скажешь. Танцевать со мной на глазах своего как она говорила, «дурака».

Потом на мои очи опустилась тьма египетская. Спустя какое-то время я очнулся на снегу. Один. Без мыслей, чувств и желаний. Возле нашего дома, где еще догорал уголь в печи.

Я вошел в дом. Скинул пальто и по привычке присел к столу. Когда я неловкой рукой налил себе в стакан остатки шампанского из откупоренной бутылки, входная дверь с шумом распахнулась — в комнату не вошел, а вместе с ветром ввалился Анатолий. Все в нем было набекрень — и не только шапка. Он был прекрасен. Глаза сияли, из разбитой губы сочилась кровь.

«Я их всех разбросал, — радостно произнес он, подсаживаясь к столу. — Разбросал — как кучу дерьма. Они хотели поставить меня на колени... Не вышло...»

Надо сказать, у него — как и у меня в это время развивался по своим, не зависящим от нашей воли законам роман с прелестной женщиной, женой одного из местных офицеров.

Прав был Лобачевский.

Наши параллельные прямые пересекаются в космосе человеческих страстей.

Как это получилось? По чьей воле — или безвольно? Имело ли оно под собой основание — в виде любви или страсти? Или стечение каких-то иных обстоятельств, не подвластных нам, соединило чьи-то судьбы? Не знаю. До сих пор не знаю.

И потому ставлю точку. Могу лишь добавить, что в эту ночь «нам звезды кроткие сияли...»

Круговорот литературы. Некрасов частично повторился в Высоцком. Пускай и в ослабленном виде.

Народ любит своих мужицких пророков и юродивых, доступных по форме и содержанию, носится с ними как с бесплатным приложением к какой-то еретической истине, не записанной в Библии. Сотворяет из них кумиров — ибо они, только они заглянули в его тоскующее заиндевшее нутро, для которого черствый хлеб ржаного стиха дороже всех кондитерских сладостей наших признанных классиков.

Интеллигент смакует эти сладости. Простой человек заνούхивает свое «винцо» ржаной корочкой.

Походка стиха так же свособычна, как сетчатка нашего глаза или отпечаток пальца. Она отражает наш характер, состояние тела и души — и те магнитные волны, которые идут откуда-то сверху.

Недаром поется в одной песне: «Я милого узнаю по походке...»

Иногда не я управляю своим языком, а язык управляет мной. У него автономное питание — и он несет такую ахинею, что я стыдливо прикрываю глаза ладонью и поспешно ретируюсь с поля брани.

Для недогадливых: «брань» — в смысле «ругань». Оцените каламбур.

«Извечное зло невозможно уничтожить, — говорю я себе. — Надо хотя бы соблюсти баланс между добром и злом в нашем сердце».

Я понимаю свое несовершенство — и потому снисходителен к недостаткам других. У меня нет сил и желания исследовать души моих попутчиков. Я готов их выслушать, но — не более того. Уже почти нет сил соперживать всему человечеству. Только самые близкие люди попадают в орбиту моей любви.

Душа засыхает на корню. Благодатные дожди обходят ее стороной. Но несколько зеленых листочков, воспетых Достоевским, пробуждают в душе что-то неуловимое, чему нет названия.

Кислота зимних сумерек как-то особенно остро разъедает душу. Первые шаги по набережной Москва-реки даются нелегко. За спиной остался Крымский мост. Он отражается в еще не замерзшей реке. Она такого же мертвенного оттенка, как и пасмурное небо. Наверное, такого же цвета и мое лицо, на котором чьей-то участливой рукой написано: «Судьба — индейка, а жизнь — копейка».

Река. Небо. Несколько уток на воде. И я — за скобками этой жизни. Торчащие из воды юркие, подвижные «поплавки» несколько оживляют пустыню реки.

Утки пытаются меня обогнать. Я для них случайный попутчик и неинтересный собеседник. Крупный, красивый, уверенный в себе селезень уводит уток за границы моих звуковых возможностей.

Но деревья, встающие на моем пути, все еще во власти моего голоса.

«Простите меня, — говорю я, глотая свежий ветер и путаясь в словах. — Простите... Я из той же породы, что и вы. И так же корнями увяз в этой земле. Она основа того ковра, на котором мы все, засучив рукава, из нитей своих поступков сплетаем рисунок истории. Я вижу: мелькают костлявые пальцы — и оживает ковер.

Я в строчку стиха хочу поместить свою жизнь, а она вылезает из строчки.

И самое главное: я не в силах удержать в руке иглу, за которой тянется нить моей песни».

Нагие, лишенные воли деревья, молчат. Они понимают меня. А впрочем, им некуда деться. Вечер взял их за горло. И душит ледяными пальцами ветра.

«Иногда обычный, надоевший до зубной оскомины мост, заезженный колесами, затоптанный ногами, готовый от непо-

сильных нагрузок броситься в воду и утонуться, иногда этот мост соединяет не только берега какой-нибудь речки, не желающей подчиняться закону однообразия и единства, иногда он соединяет твое прошлое с настоящим. И его короткий пролет, что висит над рекой подобно недописанной фразе, требует своего продолжения в каком-то ином измерении, он уходит совсем в «другие берега», отделенные от нас годами и десятилетиями.

Вместе с вагоном ты проваливаешься в прошлое, зыбкие картины и видения, наспех составленные твоей памятью, обступают тебя со всех сторон. Прошлое становится настоящим — под стук колес, неустанно отстукивающих ход твоей жизни...»

Так примерно думал я (тяжеловесно — как слон, танцующий в посудной лавке), прилепившись лицом к окну электрички, которая только что отошла от Курского вокзала и двинулась на юг — в сторону Подольска. Через две-три минуты она, набирая скорость, ворча и сердясь на что-то, словно баба с помойным ведром, которая выскочила из душевой кухни на двор, где чистый воздух сводит с ума, через две-три минуты электричка вылетела на железнодорожный мост, переброшенный через Язуу.

И справа — вниз по течению реки, отравленной сточными водами большого города, открылся вид на Андроньевский монастырь с его древними крепостными стенами, которые, наверное, еще сохранили память о грустной улыбке Андрея Рублева, идущего после заутрени в свою келью и как бы несущего в своей голове незавершенный образ «Троицы».

А напротив Андроньевского монастыря, на другом берегу Язуу, почти подступил к грязно-желтой воде такой же по цвету — грязно-желтый трехэтажный дом, составленный из нескольких корпусов, не дом, а целый жилой квартал, возникший в тридцатые годы на пустыре возле реки.

В этом доме я жил когда-то.

Мы поселились в нем еще перед войной, наверное, году в сороковом...

Хочу продолжить рассказ, но неожиданно меняется картинка на полотне домашнего кинопроектора, установленного в моей голове.

Вечер. Весенний месяц — скорее всего, это апрель. Начало семидесятых годов. Как мы попали сюда — уже не помню. Обычный весенний загул. Охота к перемене мест. Прогулка по улочкам старой Москвы — без определенной цели, а лишь по велению сердца.

Мы сидим на зеленой травке возле одной из стен Андроньевского монастыря. Перед нами, можно сказать, у наших ног — Яуза, а за ней — мой дом. Я пытаюсь поделиться своей радостью от встречи с ним, но друзья так увлеклись собой, что почти и не слышат меня.

Мой однокурсник Бронислав Холопов только что со вкусом выкушал содержимое сырого яйца и в пустую скорлупку наливает глоток холодной водки. Это особый шик — выпить водки из пустой скорлупки.

Геолог Игорь Зайонц, склонив чуть набок голову, как весенний грач на борозде, захлебываясь звуками своего голоса, в котором влажное картавое «р», казалось, мерцало от патины нахлынувших чувств, никак не может закончить длинный монолог. В нем смешалось все: Андрей Рублев и Андрей Тарковский, воспоминания о трудах и днях на Севере и впечатления от «Виноградников в Арле» Ван Гога.

Я, поднимая на уровень лица скорлупку с водкой, читаю что-то из Владимира Луговского, поразившего нас в годы недолгой оттепели книгой «Середина века»:

*У статуи Родена
мы пили спирт-сырец,
художник, два чекиста
и я — полумертвец.*

Мы чокаемся скорлупками.

И только Юрий Апенченко не слушает нас, он читает кому-то свои стихи. Кому? Может быть, этой траве, пробивающейся сквозь затоптанную и отравленную городскую землю, этому ветру, что зовет за собой неизвестно куда, этому небу, уставшему от безумия людей.

Его стихи как-то особенно уместны на закате весеннего дня, когда обнажается песчаное дно нашей души — и

чайки печали и вдохновения лениво ходят по мокрому песку, ожидая прилива.

Мы все — еще вместе, мы все — еще живы. И жизнь в общем-то благосклонна к нам. И весенний вечер голосом пролетающей ласточки, чуть не задевшей крылом край монастырской стены, благословляет наши хмельные и беспечные лица.

И дом, оставшийся на том берегу, как мне кажется, готов присоединиться к нашему «шалашу».

Я вижу, как на первом этаже загорается окно. Знакомое окно, возле которого с книгой в руках я просидел так много часов когда-то.

Кинопроектор в моей голове высвечивает на пустом белом полотне новую картинку...

Отец. На табурете у окна. На коленях — баян. Большой, элегантный, сделанный по заказу отца каким-то очень известным мастером. На лицевой стороне баяна — металлическая надпись «Александр Летовский» — имя отца и название деревни, где он родился — Лето́во.

Что он играет? Не слышу. И не все ли равно. Пусть это будет Шуберт — самый русский из всех нерусских композиторов. Его душа, как воспетая им форель, выскочила из ручья повседневности и рассыпалась брызгами звуков. И мы, открыв рты от изумления, вот уже два столетия молча стоим у этого ручья.

И отец — с баяном на коленях, и Шуберт — чуть в стороне, за его спиной, и весенний вечер, и голоса моих друзей...

Все это живет, мерцает, колеблется. И наполняет счастьем сердце.

У Александра Блока — молодого, наполненного жадной любви и творчества, вдыхающего горькие ароматы стиха и сладкие туманы соблазнов, только что вошедшего с парадного входа в большой, беспокойный и яркий мир — нищая Россия, раскинувшая на полсвета свои безрадостные леса и поля — это невеста, любовница, жена.

С ней навеки повенчан поэт. Так, во всяком случае, кажется ему, не спросившему, впрочем, у невесты согласия на этот неравный брак.

У Александра Блока, встретившего революцию «звоном щита», а потом разглядевшего за щитом кровь, обман и гибельный мрак, Россия — это обыкновенная немытая чушка, которая слопала поэта. Почавкала и слопала. Без остатка.

Между этими апокалипсическими видениями, между этими полюсами — вся его жизнь, вся его поэзия.

Почерневшее от муки лицо умирающего поэта — самая трагическая страница его творчества.

Каждый человек чем-то напоминает раскрашенную матрешку. Пытаешься добраться до сердцевины, а там ничего нет. Внутри одной матрешки скрывается другая. С той же глупой улыбкой на губах и раскрашенными щеками.

Летние каникулы для студента — это... как свет в окошке. Тянешься к нему, забыв о весенней сессии. Решения партийного съезда, речи очередного генсека — все это уже позади. Боже, он был так говорлив, этот генсек, фонтан пустословия работал день и ночь — и никто до поры до времени не пытался его заткнуть.

Марксизм-ленинизм — дежурное блюдо в нашем ученическом меню — наспех проглочено тобой — и лишь легкая изжога напоминает о нем. Ты чувствуешь себя достаточно зрелым, чтобы совершить какой-нибудь неординарный поступок — устроить маленький дебош в ресторане или выплеснуть свои зарифмованные чувства в помойное ведро враждебной к тебе аудитории.

Такие примерно мысли носились в моей голове, когда я прятался от встречного ветра за спиной проводника, который, как приученный к постоянным маршам солдат, мерно шагал по лесной тропе — неизвестно куда и неизвестно зачем.

Было это, если не изменяет память, летом пятидесятого года. Мы только что соскочили с попутного грузовика, который дотянул нас по расхристанным дорогам до какого-то

костромского села. Положившись на свое чутье и старенькую географическую карту, мы направили свои стопы на север — в сторону темного леса, уходящего за горизонт. Мы надеялись в ближайшие день-два добраться до реки Сухоны, из подручных бревен соорудить плот и, лениво развалясь на прогретом солнцем деревянном настиле, плыть и плыть вниз по течению — туда, где Северная Двина гонит свои воды в Северный Ледовитый океан...

Итак, я покорно шел за своим проводником, в роли которого выступал мой однокурсник Володя Шаньгин. Перед моими глазами маячило, качаясь на ходу, охотничье ружье. Оно вносило в сердце путника какое-то успокоение, оно было залогом безопасности в этом полудиком, почти безлюдном лесу.

К вечеру, когда наши ноги уже отекали от непосильной работы, а души затосковали о теплом ночлеге и покое, мы вышли на окраину маленького села. Пять или шесть изб, на одной какая-то вывеска — не то «Клуб», не то «Сельский совет», словом, очаг культуры, где можно, как нам казалось, провести ночь на невытом полу, а утром, продрав сонные глаза, тронуться в путь.

Застенчиво и нагло улыбаясь, заранее предчувствуя ту радость, которую вызовет наше появление, мы перешагнули порог избы.

Внутри было накурено. Три или четыре мужика что-то обсуждали — то ли международное положение и происки империализма, то ли виды на урожай. При нашем появлении они сразу же замолчали.

«Ого! — подумал я. — Соображают... Сразу поняли, что мы — не сор земли, а столичные штучки... не сор земли, а соль земли...»

Володя, с хитрецей прищулив глаза, сразу же перешел на простонародный говор, позаимствованный из советских фильмов, в которых сочными, яркими мазками изображалась счастливая жизнь колхозного села.

«Ну, что, братцы-крестьяне, — поддельваясь под речь селян, произнес он. — Нельзя ли у вас провести эту ноченьку.

Ноженьки наши намаялись. А путь наш так еще далек, так еще долог...»

Вместо ответа послышалось какое-то кряхтенье, сопенье, покашливанье. Мужики внимательно изучали нас — и кажется, вскоре пришли к единому мнению. Один из них почему-то заинтересовался его охотничьим ружьем. Володя, как всякий настоящий промысловик, услышав похвалы в адрес своего ружья, не выдержал, снял с плеча ружье и передал ближайшему мужику.

Под восторженные возгласы знатоков охоты ружье пошло по рукам. Оно все дальше и дальше уплывало поверх голов и корявых мозолистых рук от хозяина.

Я обратил внимание, что в углу избы, где стоял телефон, один из мужиков уже несколько раз куда-то звонил. В общем гаме голос его был почти неслышен. Лицо было напряженным. Иногда он искоса, чуть испуганно поглядывал на меня.

В теплой, доверительной беседе прошел, наверное, час.

Затем за окном взвизгнули тормоза. На полной скорости к крыльцу подлетели два «газика». Из первого почти на ходу выскочили два крепких, чем-то похожих друг на друга молодца — оба в одинаковых серых прорезиненных макинтошах, а из второго «газика», не торопясь, вылезли два солдата с автоматами в руках.

Хлопнула входная дверь. Ко мне стремительно, не сбавляя хода, подошел один из незнакомцев. Он с улыбкой, как на старого знакомого, с которым только вчера расстался, посмотрел на меня. Он словно сверял мой образ с отпечатком в своей памяти. Радостно оскалив в улыбке зубы, хлопнул меня со всего размаха по плечу.

«Ну, что, Горюхин, добежался! Куда путь держишь? Хочешь, я тебя подвезу? Бесплатно подвезу...» И, довольный своей шуткой, захохотал.

Второй, не выпуская правую руку из кармана, стоял чуть в стороне. На его лице не было и тени улыбки.

«Что вы, братцы! — закричал Володя, перейдя на естественный московский говор. — Это какая-то ошибка. Ей-богу, ошибка...»

«Ваша жизнь — большая ошибка, — сказал, опять чему-то улыбаясь, первый незнакомец. — И в этом вы скоро убедитесь... Прощу следовать за нами...». И улыбка навсегда покинула его лицо.

Нас вывели на крыльцо. Володю Шаньгина посадили в первую машину, а меня — во вторую, на заднее сиденье между двумя автоматчиками.

Я понял, что сопротивление бесполезно. В пустых глазах автоматчиков нельзя было отыскать и капли сочувствия. Они были холодны, как зимний северный день.

Словом, жизнь завертелась колесом. «Чертovým колесом».

Часа через два нас привезли в районное отделение милиции. До сих пор перед моими глазами это двухэтажное деревянное здание с внутренним двориком, надежно укрытым от постороннего глаза за массивными воротами.

Начались допросы, выяснения личностей, звонки в Москву, словом, все то, что называется следственной оперативной работой.

Вскоре я узнал, что из ближайшего лагеря для заключенных накануне сбежал особо опасный преступник Горюхин — и по фамилии и по внешним признакам почти мой двойник.

Признаюсь сразу, что до рукоприкладства дело не дошло, нас не пытали — и это мое счастье. Не выдержав боли, я бы, конечно, расколосился и к утру во всем бы признался.

Утром без всяких извинений нас выпустили на волю. Когда мы выходили из ворот районного отделения на улицу, почти лоб в лоб столкнулись с группой оперативников, которые вели, можно сказать, под руки моего двойника.

Я встретился с ним глазами — он был очень похож на меня, с такой же стриженной наголо головой, худым лицом и грустными от большого познания превратностей жизни глазами.

Он, несомненно, выглядел гораздо интеллигентнее меня. Я даже остановился, чтобы перекинуться с ним парой слов, но более практичный Володя Шаньгин дернул меня за рукав — и уже через час мы скрылись под покровом гостеприимного костромского леса.

Теперь, через пятьдесят с лишним лет, когда я в какой уже раз смотрю по телевизору популярный некогда фильм «Мертвый сезон» — о нашем знаменитом разведчике Абеле, в роли которого выступает актер Донатас Банионис, и дохожу до места, где Абеля на мосту обменивают на сбитого нами американского летчика Пауэрс, я всегда, до мельчайших подробностей вспоминаю сцену в воротах районного отделения милиции, вспоминаю своего двойника и его грустные и умные глаза.

А иногда мне в голову приходит и такая мысль: «А что, если они в этом районном отделении все перепутали... Студента Горюшкина за побег приговорили к какому-нибудь неслышанному сроку, а настоящего рецидивиста Горюхина по ошибке выпустили на волю... И вот уже более пятидесяти лет он умело выдает себя за другого. Носит чужую маску. Путает все карты. Умело обманывает доверчивых людей...»

И боюсь, эта тайна так и будет унесена в могилу.

Мне снится: я вижу эту книгу. Кто-то держит ее на весу перед моими глазами. Кто-то распахивает ее передо мной — как створки ворот, за которыми живет своей жизнью окутанный дымкой тайны город. Он говорит на каком-то странном наречии, недоступном моему пониманию. Он не похож на те города, в которых мне удалось побывать.

Я не вижу людей в этом городе — лишь голоса птиц сплетаются в какой-то узор, а лепестки цветущих яблонь так и не превращаются в спелые плоды. Время остановилось в нем — как замерзший от вселенского мороза водопад.

Я пытаюсь прочитать первую строчку, которой открывается книга — и слепну от беспощадного света непонятных мне слов. Они не пускают меня в глубину своего смысла.

А когда я испуганно закрываю глаза, кто-то спокойно закрывает книгу — и уносит ее под мышкой, чтобы показать на мгновение еще одному, такому же заурядному ученику, который, как и я, вряд ли овладест азбукой этой книги.

Мой дачный поселок на краю леса. Ветки деревьев нависают над ним. Солнце лишь в полдень выкатывается из-за вер-

шин двухсотлетних дубов, которые как сторожевые башни встают над его крепостными стенами.

Однажды, устав от привычной серости своей жизни, я пошел вдоль забора и, как заправский лесник, начал пересчитывать эти дубы. Раз, два, три, четыре, пять... Пять дубов прикрывают мой участок со стороны леса. Я сжился с ними, за долгие пятьдесят лет они стали частью моего летнего досуга — их ненавязчивое присутствие как-то украшало и дополняло мою жизнь.

И лишь сравнительно недавно, прижавшись лицом к корявой, морщинистой коре одного дуба, уже почти засохшего, растерявшего былую красу и мощь, я подумал: «Батюшки, как же я раньше не понял!.. Это же наше подобие. Пять молчаливых деревьев — подобие пяти замолчавших поэтов, выросших в темном лесу советской поэзии...»

Звучит нескромно, но я, как говорится, беру грех на свою душу.

И слово «пятерка» стало знаковым. Как дубовый листок, сорванный ветром с ветки, оно прилипло к моему языку. А за этим словом потянулась и ниточка воспоминаний.

Весна пятьдесят третьего года всколыхнула страну. Вспучилась, разломилась, пошла трещинами поверхность нашей жизни. Из недр, где в течение тридцати с лишним лет скрывались подлинные страсти, вырвались на волю языки пламени, пепел сомнений, грязевые потоки обманутых надежд. Смерть Сталина пятого марта стала знаковым событием эпохи.

Мы, студенты первого курса факультета журналистики Московского университета, сбивались в кучки и стаи. Кому-то казалось, что державный корабль остался без кормчего — и всех нас, вместе с нашим стопушечным сталинским фрегатом, над которым, как мне казалось, реял пиратский черный флаг с черепом и скрещенными костями, неминуемо вынесет на скалы.

Поэты нашего курса в основном были чуть в стороне от повседневной политической сумятицы. Чернильное перо и лист бумаги становились для них центром Вселенной. Поэтическое слово оказалось подлинным диктатором жизни.

Оно вело куда-то за собой — и мы покорно шли за ним, рабы своего таланта, за который надо платить кровью и жизнью.

Их было пятеро — поэтов-пятидесятников. Пора открыть их имена. Это — Юрий Апенченко, Анатолий Горюшкин, Сергей Дрофенко, Игорь Зайонц, Александр Орлов.

Юрий, Анатолий и Сергей — однокурсники. Игорь Зайонц — студент геологического института, постоянный участник наших поэтических вечеров, собиравших всю Москву; человек, соединивший в себе разнообразные таланты: геолог, ученый, публицист, автор трех десятков песен и, конечно, яркий поэт, чей голос не затерялся в нашем поэтическом хоре. Посмертно вышла его книга «Не отводи от жизни взгляд», итог насыщенной творческой жизни...

Александр Орлов учился на младших курсах. Судьба соединила нас уже в семидесятые годы в журнале «Дружба народов», где он работал редактором в отделе прозы. Признаюсь, мне было приятно, когда он вспомнил несколько моих поэтических метафор, произнесенных с кафедры Большой коммунистической аудитории, где я выплескивал в зал свою душу.

Стихотворные метафоры Александра Орлова полны стихийной силы, эпического размаха чувств и наблюдений. Каждая строка его четверостиший несет какую-то тайну и большой драматический подтекст, который, к сожалению, раскрывается не для всех, а избирательно ищет своего читателя.

Он не напечатал при жизни ни одного стихотворения в официальных журналах. И лишь после его ухода в семьдесят первом году вышла в издательстве «Советский писатель» книга его стихов, с предисловием прозаика Анатолия Кима, сравнившего четверостишия Александра Орлова с классическими хокку японских поэтов.

Сергей Дрофенко добился признания при жизни. Он заведовал отделом поэзии в журнале «Юность» — в те времена, когда главным редактором был Валентин Катаев. Его первые публикации, на мой взгляд, были довольно поверхностны. Эпохе требовались поэтические публицисты, пытающиеся подкрасить и оживить лицо сталинского монстра — так

называемый «социализм с человеческим лицом», — и многие авторы охотно включились в эту беспроигрышную игру.

В какой-то момент Сергей Дрофенко понял, что это — не его путь. Голос его обрел силу и полнзвучие. Лишь после его ухода в семидесятом году, когда вышла в свет книга «Зимнее солнце», мы все поняли трагическую глубину его таланта.

Юрий Апенченко еще в студенческие годы стал поэтическим лидером курса. В нашем поэтическом квинтете он был первой скрипкой. Чистота его голоса изумительна. Его стихи до сих пор не востребованы обществом, они хранятся в ящиках его письменного стола и в памяти компьютера. Это, несомненно, крупный поэт, со своей манерой письма, которая не поддается копированию, а, как всякая тайна, притягивает, волнует и завораживает.

Сам я с трудом издал в начале восьмидесятых свою книгу «Сердце у дороги», не получив от этого почти никакой радости. Мои лучшие стихи были отвергнуты издательством. Помню, как главный редактор отдела поэзии, прочитав стихотворение «Мертвые не говорят...», сверкая глазами, закричал: «Я знаю — о чем вы пишете!.. Не прикидывайтесь Эзопом!.. Вы пишете о сталинских лагерях... Это не пройдет... Никогда не пройдет!..»

Лишь недавно мне удалось издать книги, в которых я представлен в полном объеме.

Не буду углубляться в лабиринты наших поэтических судеб. Известные творческие объединения, как правило, состоят из единомышленников, формируются на основе выработанных совместно правил и заповедей.

Нас объединяла не манера письма — мы были слишком разные, нас объединяла дружба, стремление каждого найти свою особую точку отсчета поэтической истины. Как путники, застигнутые снежным бураном в лесу, мы жались друг к другу — в поисках так необходимого сердцу тепла и сочувствия. Могу лишь добавить, что от наших стихов никогда не пахло официальным «вдохновением».

...Каждое утро я прохожу вдоль забора, заросшего кустами жимолости, молодыми побегами орешника. За ним, раскинув

могучие ветви, стоят пять молчаливых, изученных до последней морщинки дубов.

Пятьдесят лет назад, когда мы с отцом впервые пришли на опушку леса и вбили колышки на границах нашего участка, эти дубы были во всей полнокровной красе своей двухсотлетней зрелости.

Увы, время не пощадило их! Дубовый короед обглодал несколько дубов. Их голые стволы, почти окаменевшие от мороза и ветра, становятся памятником ушедшей эпохи. Они превращаются — в музыку, живопись, слово. Над участком нависает сухая, узловатая, чудовищной мощи лапа одного из дубов, на конце которой прилепилась горсть пока еще зеленых, трепетных листьев.

И мне становится радостно и грустно... Я вижу, как ветер перебирает эти листья. В их шелесте я узнаю голоса моих друзей.

«Мы еще живы, — думаю я, присаживаясь на ступени крыльца, обращенного к лесу. — Еще живы... В наших строчках, в памяти друзей, в капельках дождя, целующего листья засыхающего дуба...»

Галина Ванечкова

«Ты — как круг, полный и цельный...»

Мои встречи с Константином Родзевичем

За хребтом Уральских гор на тридцатом километре Азии расположен мой родной город, названный Екатеринбургом, переименованный в Свердловск и снова ставший Екатеринбургом.

Окончив педагогический институт, я преподавала литературу в школе, а позже вышла замуж за чеха и уехала в Прагу, где только в шестьдесят первом году увидела первое советское издание русского поэта Марины Цветаевой.

Горечь обиды, что меня несправедливо лишили этого богатства в юности, возмещалась моим стремлением узнать как можно больше об этом поэте. Поэтому, прочитав «Поэму Горы» и «Поэму Конца», — а переживались они особенно остро еще и потому, что реалии, описанные в поэмах, встречались по пути на работу в Карлов университет или во время прогулок с детьми в парках Праги и по берегам и мостам Влтавы — мне, конечно, необходимо было узнать имя героя поэм. Мой друг Яна Штроблова, начинающая в то время переводить поэзию Марины Цветаевой на чешский, конечно, поддерживала мои поиски.

Кто герой «Поэмы Горы?»

Тот, кто вызвал к жизни такую «гору», такую «пропасть» любви, не может не быть Героем...

*Ты — как круг, полный и цельный:
Цельный вихрь, полный столбняк.*

*Я не помню тебя отдельно
От любви. Равенства знак.*

Любовь, возносящая героиню на трон:

*Новизной, странной для слуха,
Вместо я — тронное мы...*

Читаем с Яной — строчку за строчкой, — нет в «Поэме Горы» портрета героя. Есть свидетельство его увлеченности, полного дара: «На же меня! Твой...», звучащее скорее поэтически, чем по-мужски.

Главное действующее лицо — лирическая героиня, которая, чтоб совладать с описанием любви героев, призвала себе на помощь образ Горы. Гора — «сводня» становится виновницей близких отношений влюбленных, это она «притягивала — ляг». Богатство ассоциаций, рождающееся у слова «гора», поэт переносит на слово любовь, обогащая образ любви.

Ранее — «страстная», но «не быть упорствующая», лирическая героиня, встретясь с любимым, «довоплощается» в женщину и не допускает отрицательных мнений о их отношениях, утверждая: «Не обман — страсть, и не вымысел!»

Пастернак был потрясен, прочитав «Поэму Горы». Иосиф Бродский написал: «...когда я прочел «Поэму Горы», то все стало на свои места. И с тех пор ничего из того, что я читал по-русски, на меня не производило того впечатления, какое произвела Марина».

В «Поэме Конца» поэт шаг за шагом приближаясь к описанию разлуки, будто растягивает содержание (наполнение) слова «ко-нец», нагнетая невыносимую для героини абсурдность их расставания, конца любви, убеждает читателя в невозможности конца. Любовь бесконечна.

В этой поэме уже даны некоторые моменты поведения мужчины, с которым героиня встречается, чтобы расстаться.

Он изысканно поднимает шляпу: «Без четверти? Точен?»
Он холоден: «Губ столбняк».

Тон его поучителен и рационален: «Вы слишком много думали...»

Он сдержанно-предупредителен: «Мы мужественны будем?»

В обращении с женщиной он нечувствителен, по отношению к поэту Цветаевой он невежественен: «...вовсе их не пишете, Книг...»

Но в конце их расставания он ... плачет, а: «...совместный Плач — больше, чем сон!» Больше, чем страсть.

И образ его — уходящего, по достоинству поведения и истинности переживаемого им конца, напоминает лирической героине тонущий корабль.

После прочтения поэм, конечно, возникает желание узнать, кто же был прототипом героя.

Долго мои поиски были тщетны.

Клавдия Петровна Макаева: «Был тут полячок, вертелся около Цветаевой... не помню его фамилию».

Екатерина Александровна Кизеветтер: «Я думаю, это Родзевич. Он ухаживал и за Чириковой. На одном вечере мы так смеялись: он пришел ее пригласить на танец, а она ему: «Брысссь!»»

Наконец, я решила обратиться к Ариадне Сергеевне Эфрон и получила следующие ответы:

Письменно: «...Вы, как будто бы собираетесь проводить розыски героя поэм и заняться уточнением мест и обстоятельств поэм. Это — Ваше право, но *мне* — мнения своего не навязываю! — кажется, что точное местонахождение горы и имя ее — *Синай*, а герой — безымянен. Все, что нужно — сказано в самих Поэмах...»¹

И устно: «Вам хочется ехать в Париж и познакомиться с очень старым человеком, обломком самого себя, в надежде на что? На конкретизацию того, что быть не должно и не может быть конкретизированным иначе, чем в поэмах... Образ или

¹ Ариадна Эфрон. Письмо к Г. В. 24 марта 1966. — Ред.

прообраз героев поэм и сами поэмы — это мир и антимир, не терпящие „очных ставок”».

Но я не прекратила поиски. В православной церкви мне сказали, что был в Праге студент юридического факультета Константин Родзевич, который уехал в Париж.

Алексей Эйсер не захотел мне рассказать о Родзевиче.

И наконец — Владимир Сосинский написал мне, что герой Поэм Марины Цветаевой живет в Париже, и сообщил мне его адрес и телефон...

Выехать из Чехословакии во Францию в то время было невозможно, мне бы просто не дали выездную визу. Но случилось чудо: мой муж-геолог был приглашен на международную геологическую конференцию в Париж и мог поехать с супругой.

Все достопримечательности Парижа отступили на задний план перед возможностью увидеть Константина Родзевича.

Я позвонила по телефону, услышала его голос, он сказал, что ждет меня сегодня же.

Дверь открыл небольшого роста седоватый худой мужчина. Взгляд пристально — поверхностный, пожатые маленькой холодной руки.

Константин Болеславович познакомил меня с супругой Идой Бержэ, высокой брюнеткой, немецкой коммунисткой, читающей лекции по социологии.

Мы прошли в приемную комнату. Ида подала чай с печеньем.

Константин Болеславович дружески расспрашивал меня о моей жизни, о причине моего интереса к его особе. Нет, я не сказала ему, что хотела видеть того, кого любила Марина Цветаева. Мне в тот момент этому постаревшему, с молодыми глазами человеку хотелось все простить.

В голове звучало помогающее:

*Слезам твоим — перлам
В короне моей!*

Я спросила, не может ли он рассказать о себе, и долго слушала его приятный голос, его спокойный рассказ с остановка-

ми в трех местах: со стыдливым вздохом, когда рассказывал, что переходил от белых к красным и от красных к белым, с ясным замалчиванием чего-то, что мне не надо знать, когда говорил о поездке в Ригу.

И располагающим к собеседнику воздержанием говорил о их отношениях с Мариной Цветаевой: «Так ведь все в Поэмах, и «Овраг» — тоже мой. Наша любовь и быстро наступившее расставание живо отражено в стихах и поэмах. Можно ли заурядными словами передать то, что уже стало достоянием поэзии? Лучше я вам на память того времени подарю эту фотографию».

И Родзевич подал мне свою фотографию. Он в кепке, темной рубашке с галстуком.

Передаю записанный мной рассказ Константина Родзевича:

— Мне семьдесят один год. Родился я в Ленинграде, отец был дивизионным врачом. В гостях у нас бывали Деникин и Брусилов — друг отца, он учил меня конному спорту. После смерти отца — морская школа в Петергофе. Готовили быстро — была война... получил звание мичмана передового состава. Послали на Черное море, участвовал в сражениях на катерах, попал в плен, перешел от белых к красным.

Во время гражданской войны был комендантом Одесского красного порта, чтоб не хвастаться — начальником портового отдела. Опять плен... у белых. Когда взяли в плен, не хватило твердой идейной установки, согласился служить в белой армии, потом уже стыдно было вернуться. Послали на Каспийское море. Правление все время менялось: гетман Украины, белые... красные... Женщина, которую любил, уехала за границу...

Белая армия эвакуировала свои части на Галлипольский полуостров. В это время я узнал, что чешское правительство дает стипендии русским студентам.

В Константинополе образовалась комиссия профессоров, которые проверяли претендентов на учебу, по выбору — в Прагу. Я прошел комиссию. Мы поехали вместе с Эфроном, он на филологический, я на юридический факультет, во главе которого были Новгородцев и Grimm — профессор из Петербурга.

В академических кругах студент Родзевич был активен и уважаем.

Когда тринадцатого июля двадцать второго года в здании Карлова университета проходит торжественный акт по случаю принятия университетом под свое покровительство Русский юридический факультет, от студентов-юристов с приветствием выступил староста факультета Константин Родзевич.

На общих собраниях членов Свободного Союза русских студентов в Чехословацкой Республике председателем собрания часто избирается Константин Родзевич.

Двадцать седьмого апреля в Студенческом Доме собралось несколько сот студентов для чествования американских гостей. От имени студентов и преподавателей русских факультетов в Чехословакии «в теплых и сердечных выражениях» (как написали в газете) приветствовал гостей представитель Союза русских студентов и Правления ОРЭСО Константин Родзевич.

И снова уже в двадцать третьем году состоялась встреча в честь памяти генерала Корнилова, на которой выступил студент Константин Родзевич.

В ноябре двадцать четвертого года в церкви св. Николая перед Всеношной был отслужен молебен. Вечером в ресторане «Москва» Галлиполийским землячеством был устроен чай, который помогал организовать Родзевич.

Галлиполийская годовщина отмечалась и на Общем собрании Союза русских студентов в общежитии «Свободарна». Председателем собрания был избран Константин Родзевич.

Константин Болеславович продолжал свой рассказ:

— Как студент Пражского университета и русский эмигрант, Сергей Эфрон выписал из Москвы жену и дочь. Марина тоже получила материальную поддержку — какую-то стипендию.

Мы встретились. Была настоящая любовь. Вся трагичность нашей встречи в ее безысходности. У нас не было возможности организовать совместную жизнь: Эфрон был ее мужем, моим другом, была Аля... У меня не было положения, мне некуда было деваться, стипендия кончилась. Я не мог дать ей никаких гарантий...

Несмотря на нашу искреннюю, настоящую связь с Мариной, это не разбило нашу дружбу с Эфроном, мы остались друзьями. Знал и принял... знал, что я не первый и не последний...

Для меня это было самое счастливое время. Прага — это самый счастливый период моей жизни. И потом, когда не вышло большое и настоящее... я несерьезно относился к моим связям — и женился на Булгаковой. Это было ошибкой. Мы быстро разошлись. Разошлись и с ней, и с дочерью.

Моя политическая деятельность началась в Праге. Уехал в Париж, потому что попал в водоворот политического движения. Дружба с Сергеем продолжалась и в Париже. Отношения с ним позже были сложные, но абсолютно ясные.

Во Франции я стал членом коммунистической партии. На фотографии — я с коммунистической газетой L'Humanite. Горжусь этим снимком.

Во время правительства Народного фронта Анри Барбюс возглавил «Ассоциацию революционных писателей и артистов», в которой объединилась прогрессивная интеллигенция Франции. Я состоял в этой организации.

Потом была Испания. Французский псевдоним Корде в Испании я переправил на Луи Кордеса. Вот на этой фотографии я комендант отряда подрывников интербригады анти-Франко. Встречался с Михаилом Кольцовым. А тот снимок, в рамке, это тоже Испания, член Интернациональных бригад.

О! На фотографии я наконец-то увидела героя, который был близок моему представлению героя Поэм. До сих пор я ни о чем не просила, но эта фотография мне была необходима... для переводчицы Яны Штробловой, для моих друзей «маринистов» в Советском Союзе.

Константин Болеславович долго не соглашался дать мне ее даже на один день, утверждал, что это единственный снимок, и он не может снять его со стены. Кто знает портрет Родзевича, поднимающегося по ступенькам, поймет, почему я так настойчиво просила дать мне фотографию,

обещая, что завтра она будет так же, в рамочке, висеть у него на стене.

Он не устоял. Снимок был у меня в руках, я поехала искать фотоателье. Одно, второе, третье... Нигде не соглашались сделать копию до следующего дня.

Я позвонила в Орлеан студентке-француженке, которая приезжала на летние курсы чешского языка в Прагу. Она все организовала. На следующий день мы с ним снова водворили на стену героя Луи Кордеса. Я получила разрешение обнародовать этот снимок.

Приехав в Прагу, разослала его всем, кто должен был обрадоваться изображению героя «Поэмы Горы», «Поэмы Конца», героя испанской республиканской армии, сопротивлявшейся фашистскому мятежу Франко.

Родзевич рассказал, что во время войны Франции с фашистской Германией он участвовал в движении Сопротивления. Два года провел в Бухенвальде и других концлагерях. После освобождения хотел вернуться в Россию. Поехал в Ригу, остановился у дальних родственников.

И все-таки уехал в Париж.

Константин Болеславович показал мне сделанные им альбомы с фотографиями Цветаевой и Эфрона. На некоторых фотографиях присутствовал и друг семьи Родзевич.

В одном из альбомов были фотографии рисунков Константина Болеславовича. Несколько портретов Марины Цветаевой, портреты Веры Трейл, автопортреты, рисунки по дереву...

На проявленное мной желание уточнить места их встреч с Мариной Цветаевой, он сказал, что, вероятно, приехав в Прагу, не нашел бы этих мест. Позже, когда в Праге готовилось издание «Поэмы Конца» по-чешски и я, желая помочь иллюстратору, снова попросила Радзевича подтвердить верность некоторых реалий, он ответил мне:

— Со своей стороны я не могу в этом деле быть для вас в чем-либо полезным. Я полностью забыл и названия рестора-

нов, где мы бывали с Мариной, и названия улиц, по которым мы с ней прогуливались.

И все это, по-моему, не имеет никакого значения. Ведь «перст столба», «ресторан», «набережная», «мост» и «загород» — все это только ярко запечатленные картины, приобретающие в стихах, так сказать, «символический» характер.

Эти картины не следует сопровождать никакими точными «географическими» комментариями.

Пусть Поэма остается поэмой, а не приобретает видимость какого-то «Путеводителя» для влюбленных.

Пришлось мне и кафе, из окна которого была видна «звезда мальтийская», и воды «стальную полосу», и набережную, которая «кончается», и мост, на котором платились «мостовые», и кафе — «молочную», и последний путь в гору — на Гору, описанную в Поэмах, идентифицировать самой.

Во время пребывания в Париже мы с мужем были приглашены на выставку работ резьбы по дереву Константина Болеславовича. Голова Марины Цветаевой будто вырастающая из ствола дерева, двойной портрет примкнувших друг к другу Сергея и Марины, удачная Вьетнамская мадонна, Огонь, Негритянка. Богиня моря на киле корабля...

После выставки мы долго сидели в одном из парижских кафе. Мужчины говорили о политике.

Мы встретились в жизни три раза. В последний — в мой приезд незадолго до смерти Родзевича. Снова рассматривали сделанные им альбомы. Он показывал последние работы резьбы по дереву и рисунки портретов.

Во время одной из встреч подарил мне несколько конвертов с его чешским адресом, написанном рукой Марины Ивановны. Обратные адреса на конвертах помогли мне установить местонахождение домов, в которых проживала Цветаева в Чехословакии.

Письма были посланы Родзевичем в Москву Ариадне Эфрон. Получив, она развернула пакет, убедилась, что в нем нет

письма для нее, взяла фотографию и, снова завернув письма, передала пакет в РГАЛИ¹.

В письмах Цветаева очень откровенно описывает свои чувства и свои переживания. Книга писем Марины Ивановны и ни одного ответа Родзевича.

В одном из первых писем она упоминает о их прогулке на гору во Вшенорах и цитирует своего спутника: «Нет, нет, Марина Ивановна, известный комфорт нужен: хорошее кресло, в котором так хорошо думается... И спится».

Автор писем считает, что у ее адресата душа Вольтера, а у нее душа Руссо.

Она верит, что через силу, которую чувствует в Родзевиче, благодаря его любви — в ней «довоплотится» истинная женщина, которая в первый раз ощущает «единство неба и земли».

«Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть». «... Ты один такой». «Встретившись с Вами, я встретила с никогда не бывшим в моей жизни: любовью — силой, любовью — высью, любовью — радостью».

Это был не Пьеро, всегда глубоко, верно, несчастно влюбленный. Любимый Марины Цветаевой — счастливый соперник Арлекина.

Но Родзевич не любит ее стихов. Он отказывается принять в подарок ее кольцо, книгу... Его поведение настораживает, вызывает в Марине разочарование. Она начинает сомневаться в его искренности. Стараясь бороться за его душу, убеждает своего любимого быть «самим перед собой».

Когда о их близости узнает муж Марины Цветаевой, встречи их становятся невозможны. Для Марины тяжелы переживания Сергея: «...Счастье на чужих костях, — этого я не могу. Я не победитель»...

В начале декабря двадцать третьего года Цветаева пытается подвести итог своей жизни:

«Личная жизнь, то есть жизнь моя в жизни /.../ не удалась. Это надо понять и принять. Думаю — тридцатилетний опыт (ибо не

¹ Письма были изданы Еленой Коркиной в 2001 году. «Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу». Ульяновский Дом печати. — Г.В.

удалась сразу) достаточен. Причин несколько. Главная в том, что я — я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных — прекраснейших, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке. Попросту: слишком ранний брак с слишком молодым».

«/.../ Я ничего не искала в жизни (вне-жизни мне все было дано), кроме Эроса, не человека, а бога, и именно бога земной любви. Искала его через души.

Сейчас, после катастрофы нынешней осени, вся моя личная жизнь (на земле) отпадает. Ходить по душам и творить судьбы можно только втайне. Там, где это непосредственно переводится на «измену» (а в жизни дней оно так) — и получается «измена». Жить «изменами» не могу, явлю — не могу, гласностью не могу. Моя тайна с любовью нарушена. Того бога не найду.

«Тайная жизнь» — что может быть слаще? (мое!) Как во сне.

Неназванное — не существует в мире сем. Ошибка Сергея в том, что захотел достоверности и, захотев, обратил мою жизнь под веками в таковую (безобразную явь, очередное семейное безобразие). Я, никогда не изменявшая себе, стала изменницей по отношению к нему».

В декабре они расстались. В тетради Цветаевой появилась следующая запись: «Двенадцатого декабря (среда) — конец моей жизни. Хочу умереть в Праге, чтобы меня сожгли».

В письме к Бахраху: «Я рассталась с тем, ...не рассталась — оторвалась!» А в тетради — молитва: «Господи, дай мне /.../ написать большую и прекрасную вещь. Больше не знаю, о чем (для себя) просить: все остальное неосуществимо. Нет, Господи, еще дай мне много... денег, чтобы я... могла хоть чем-нибудь издали скрасить ему жизнь».

Марина Цветаева продолжает посылать Родзевичу не только письма, но посылки и даже деньги.

А Родзевич вскоре начинает встречаться со своей будущей женой — Муной Булгаковой. Они обвенчались в Париже в июне двадцать шестого года.

Первого февраля двадцать пятого года во Вшенорах близ Праги родился сын Марины и Сергея — Георгий Эфрон. В отличие от мнений некоторых моих коллег, я убеждена, что

Георгий — сын Сергея. Для подтверждения моей точки зрения я приведу несколько цитат.

Марина Цветаева не могла хитрить, когда писала:

«Муна /.../ была как тень / *(над колыбелью Георгия — Г. В.)* и наверное думала о своем несбыточном сыне от Р. — о котором со снисходительной над собой и над ним и всем улыбкой немножко думала и я. Не забыть записать этой дичайшей сцены ревности в кафе, когда узнал, что у меня будет сын. Сначала — радость, потом, когда сообразил — ревность».

«Мой сын ведет себя в моем чреве исключительно тихо, из чего заключаю, что опять не в меня! — Я серьезно. — Конечно, у Сережи глаза лучше (и характер лучше) и так далее, но это все-таки на другого работать, а я бы хотела на себя.»¹

«Нам с мальчиком пошли восьмье сутки. Лицом он, по общим отзывам, весь в меня /.../ вообще — Цветаев. /.../ Дочь несомненно пошла бы в Сережу». «...Это не дитя услады»².

При встрече с Ариадной Сергеевной я спросила: «А Мур? Чей он?» Как она рассердилась! Это был единственный неприятный момент нашей встречи в Тарусе.

— Ну что вы! Мур — это наш мальчик! Это было закреплением и подтверждением любви отца и мамы — после разрыва с героем Поэм.

Разговаривая в Париже с Константином Болеславовичем, я чувствовала, что ему очень хотелось бы, чтобы Георгий был его сыном.

Во время нашей встречи он дважды показывал мне фотографии Сергея, свои и Георгия и спрашивал: «Вам не кажется, что Георгий совсем не похож на Сережу? Посмотрите, ведь по типу он ближе ко мне?»

— Георгий очень похож на Марину Ивановну, — ответила я.

Спросила, не из-за него ли Марина Ивановна поехала в Париж?

¹ Марина Цветаева. Колбасиной-Черновой 25.11.1924.

² Марина Цветаева. Колбасиной-Черновой 09.02.1925.

«Нет...совсем нет» — отрезал Родзевич. А на мой вопрос, встречались ли они во Франции, ответил утвердительно и добавил: « Мы встречались между Парижем и Медоном».

И вдруг я услышала: «Однажды она мне сказала: странно сложилась наша жизнь. Но мы не расстались. Нас кто-то связывает...»

Я очень рад, что у нас было время сказать об этом. Мур меня очень любил, его смерть — храбрая, достойная смерть была большим ударом для меня».

И снова старался подтвердить желаемое: «Правда, он совсем не похож на Сергея. Смотрите, ни одной эфроновской черты. А Аля... у нее ясна связь — глаза».

— Память о Марине я бережно пронесу сквозь все нарастающую гущу времен. Вся жизнь она была моей совестью.

После войны пропали все мои личные вещи. И только письма Марины сохранились, я дал их на хранение доброму другу — женщине.

В последние годы пребывания во Франции Марина была совершенно одинока. Аля ведь обожала отца. А с матерью у нее были трудные отношения. С Сергеем к тому времени они совсем не понимали друг друга, они были совсем разные люди. «Восхищенная» и «восхищенная», она сначала нехотя обидела его, потом он тоже стал увлекаться, что обидело ее. К концу жизни — это совсем чужие люди.

Марина много раз влюблялась, но большой любви, за которую стоило держаться, у нее не было. Может быть, самым большим и не сбывшимся было ее отношение к Пастернаку.

— Я видел ее перед возвращением в Россию. Я знал, что это для нее тяжелый шаг. Она уехала из России тогда, когда ей нельзя было уезжать и вернулась тогда, когда возвращаться было нельзя. Но был Мур, он хотел в Россию, где уже были Сергей и Аля...

Мы все виноваты в ее смерти. Нам нужно было что-то сделать. Мне страшно и странно, как я ей мало помогал — человечески и материально.

Думаю, что Константин Болеславович с его отзывчивым сердцем не смог бы не помогать Цветаевой, если бы был уверен, что Георгий его сын...

Ко времени нашей встречи Родзевич был уже на пенсии, но рисовать не перестал:

— Трагедия старости не в том, что ты старый, а в том, что душа остается молодой.

Не могу привыкнуть к пенсии, раньше был в круговороте работы...

Но я рад, что могу заниматься искусством. Тут, вероятно, проявилась моя русская душа — резьба по дереву, старые боги, язычество...

У меня хранятся несколько писем Константина Болеславовича к нам с мужем и фотографии его работ.

Во время нашей последней встречи он сказал, что все, что касается Марины Цветаевой, после его смерти он передает в мои руки, и начал переводить сказанное супруге, но она остановила его, сказав по-французски: «Я все поняла»...

Его супруга Ида умерла раньше него. Не знаю, сохранились ли где-нибудь его альбомы и работы. Когда из библиотеки Нантр мне позвонили, сообщив, что нашли маленький чемоданчик и открыв, сверху увидели мой адрес, я поехала посмотреть.

Наверху действительно лежал листок с моим адресом. Далее следовала автобиография Константина Родзевича со свидетельством посвященных ему Мариной Цветаевой Поэм и стихов; удостоверение Паспортно-Пропускного Отделения в Константинополе на имя штурмана Родзевича Константина, со сроком действия по 25.12. 1920 года; подтверждение об окончании Русского юридического факультета в Праге с дипломом первой степени и документы, подтверждающие его пребывание в тридцать седьмом году в Испании...

В конверт с именем Веры Трейл была вложена фотография ее портрета, исполненного Родзевичем и несколько писем от Сувчинской-Трейл к Родзевичу, в которых она выра-

жает удивление по поводу такой непоколебимой его веры в коммунистическую идеологию. По письмам ясны их очень близкие отношения.

Там же были уложены письма его коллег Савицкого и Малевского-Малевича, напоминающего о необходимости ликвидировать отчетность по ЕА. Он просит также сообщить о судьбе книжного склада с литературой и выражает неудовольствие по поводу невозвращенных пишущих машинок и книг.

В отдельном конверте находилась копия реабилитации Сергея Эфрона, посланная Родзевичу Ариадной Сергеевной, ее приглашение приехать в Москву и, написанная рукой Константина Болеславовича, копия официального приглашения от лица Иды Бержэ к Ариадне Эфрон для поездки в Париж.

На нескольких листах красивым почерком Константина Болеславовича были написаны его стихи — «Стихи о Фавьере» с посвящением «дорогим друзьям Жоржу Де Плани и Дикку Покровскому».

Приведу три четверостишия из пятнадцати:

*По — молодецки выгнув станы,
Неловким юношам в пример —
Сорокалетние Тарзаны
Опять заполнили Фавьер.*

*А тут же — молодые лица
И столько женских стин и плеч...
Нельзя в Фавьере не влюбиться,
Нельзя невинность уберечь.*

*Как знать — в которую влюблюсь я?
Как выбрать мне одну из всех?
Тамара, Ира, Нина, Люся...
Влюбиться в каждую не грех!*

Второе стихотворение о том, что

*на самом Средиземном море
Раскинут лагерь Россиян.*

Третье — из-за безвкусыя и грубости цитировать нельзя.

Во время нашей встречи в Тарусе Ариадна Сергеевна говорила о Родзевиче с большой симпатией. В своих воспоминаниях написала:

«Герой Поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость с ироничностью, отзывчивость с небрежностью, увлеченность (увлекаемость) — с легкомыслием, юношеский эгоизм с самоотверженностью, мягкость со вспыльчивостью...»

Сосинский дал следующую характеристику Родзевичу: «Борясь против фашизма в Испании, Константин Родзевич проявил себя героем. К концу Испанской войны он командовал полком. Боролся с фашистами во Франции, прошел все невыносимые испытания в Бухенвальде»¹.

Эйснер в воспоминаниях о Марине Цветаевой: «Она многое понимала лучше нас...» О Родзевиче написал: «Красивый, изящный, маленький человек, похож на Андрея Болконского. /.../ В восемнадцатом году командовал Южной флотилией Красной Армии на Днестре. Попал в плен. Генерал Слащев отменил расстрел Родзевича.

Родзевич был прямой противоположностью Сергея Эфрона — ироничен, остроумен, мужествен, суховат, а в душе очень нежен. Был евразийцем, затем крупным резидентом НКВД»².

«Маленьким Казанова» назвал его друг Сергей Эфрон в письме к Максиму Волошину.

Марина Цветаева не знала об этом письме, но и ей казалось, что Джакомо Казанова и Константин Родзевич похожи: «Моя задача... доказать Вам нищету мира вещественного.

...о Вас почти дословно могу сказать то, что говорила о Казанове: блестящий ум, воображенье, горячая жизнь сердца — и полное отсутствие души... Душа — это не страсть, это непрерывность боли».

Кист-Рейтлингер, вспоминая о Марине Цветаевой, о Родзевиче написала: «Чувствовалось, что он привык всех очаровывать. Очень уверенный в себе, оп уму не только голосу, но

¹ Москва, 1966. Письмо к Г. В.

² Марина Цветаева в воспоминаниях современников: годы эмиграции. М. Аграф, 2002. С. 202.

и глазам придавать соответствующие нюансы — значительные или насмешливые»¹.

Мейснер вспоминал о нем: «Молодой человек, весьма обходительный и ловкий — Константин Родзевич, умевший произносить на эмигрантских собраниях шаблонно-сладкие, но недурно склеенные речи». «Фразером и болтуном» — в личном разговоре охарактеризовал его Вадим Морковин.

Гениальным творцом была поэт Марина Цветаева.

В «Сводных тетрадах» она написала: «Любовь в нас как клад... Человек — повод к взрыву... Дать взорваться больше, чем добыть. Благословен ты, дающий мне меня».

Околдованная ее Поэмой, я ехала в Париж. К ней ехала в Париж.

Когда возвращалась в Прагу, в ушах не переставала звучать фраза Родзевича: «Как мало мы ей помогли! И почему мы ничего не сделали, чтобы удержать ее от возвращения в Россию?!»

Это было первое, что я процитировала в ответ на нетерпеливо распахнувшиеся глаза Яны Штробловой, когда мы встретились в Праге.

Да, он был поводом для написания прекрасных поэм... поводом. Но не прообразом. Мы всегда будем помнить: «Нет, во все их не пишете, Книг...» И все-таки вздох Марины Цветаевой: «С ним я была бы счастлива...» Была бы?

Вспоминаю Ариадну Сергеевну Эфрон: «Вам хочется ехать в Париж и познакомиться с очень старым человеком, обломком самого себя, в надежде на что? На конкретизацию того, что быть не должно и не может быть конкретизированным иначе, чем в поэмах... Образ или прообраз героев поэм и сами поэмы — это мир и антимир, не терпящие «очных ставок».

¹ Е. Кист «Что осталось в памяти из встреч с Мариной». Музей чешской литературы, архив В. Морковина.

Думаю, Ариадна Сергеевна глубоко права.

А статья моя — дань долгим поискам героя «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца».

Елена Венедиктовна Каплан — работник парижской библиотеки четвертого июня 1988 года в Праге сообщила мне, что месяц тому назад умер Константин Родзевич.

Гроб несли из дома престарелых, за гробом шли два человека — Ален Бросса, который издал книгу «Агенты Москвы», и Гучков — брат Веры Трейл, которая до конца жизни переписывалась с Родзевичем.

Эта переписка была использована. В книге «Агенты Москвы» Ален Бросса рассказывает о сотрудничестве Константина Родзевича с иностранным отделом ОГПУ.

Константин Родзевич жил в Париже по адресу¹:

C. Rodzevitch 26, rue Lacretelle. Paris 15^o

Письма Константина Родзевича Галине Ванечковой

13 мая 1966

Первая записка: «Дорогой Гале на память о наших Парижских встречах!». К. Родзевич» сопровождала несколько фотографий его работ, виденных мной на выставке резьбы по дереву.

29 дек/абря/ 1966

Дорогая Галя! Поздравляю Вас, дорогого Мирко и младших Ванечковых с Новым Годом и желаю всем вам от всего сердца здоровья, радости и успехов в работе. Я пишу Вам из Швейцарии, где провожу зимние каникулы. Вернусь в Париж в начале января. А Вы? Не собираетесь ли Вы снова на берега Сены? Был бы рад Вас опять встретить. Ваш К. Родзевич.

¹ Читая о судьбе сына Троцкого — Седова, я узнала, что он жил в Париже на той же улице. — Г. В.

Декабрь 1967

Дорогие Друзья! Поздравляю вас (всех четырех!) с наступающим Новым Годом и шлю Вам мои наилучшие пожелания! Спасибо за весточку от Гали. Прошлым летом я побывал в Советском Союзе — в Москве, в Ленинграде, в Киеве и несколько дней гостил у Али в Тарусе. А в будущем году собираюсь провести часть моих летних каникул в дорогой моему сердцу Праге. Был бы очень рад встретиться тогда с Вами. Но это еще далеко и об этом мы, надеюсь, успеем договориться. Всего доброго! Ваш К. Родзевич

Ноябрь 1976. Париж

Какое неожиданное и приятное совпадение!

Ваша дружеская открытка пришла ко мне в Париж 2-го ноября — то есть как раз в день моего рождения. Таким образом Вы невольны оказались в числе теперь уже очень редких моих друзей, которые продолжают приветствовать меня издали...

Спасибо за Ваше радушиное приглашение приехать к вам в гости. Мне было бы очень радостно снова повидаться с вами, и я с большим удовольствием погулял бы опять по древним улицам «Златой Праги», о которой храню до сих пор неизгладимое воспоминание.

Но увы, в моем возрасте — представьте себе: я уже добрался до восьмидесяти четвертого года! — от дальних и долгих путешествий приходится отказываться. Мое больное сердце все чаще и строже вызывает о покое, а потому и круг моей активности становится все теснее. По недостатку сил я принужден был даже забросить любимую мной скульптуру...

Теперь в мои хорошие минуты я тешу себя рисованием, но большую часть моего времени просто полеживаю и почитываю, стараясь хоть мысленно не отрываться совсем от совершающихся в мире событий... короче говоря, я уже привыкаю жить по-стариковски. Но кажется, не впал еще в окончательное убожество.

Итак, после временных блужданий за рубежом вы по-прежнему прочно обосновались под родным небом. Сочувствую вам от всей души! Желая побольше счастья в домаш-

нем быту и новых достижений в работе на славу Чехословакии!

Когда найдется время, давайте мне о себе знать.

Ваш Константин Болеславович Родзевич

Р. С. Дорогая Галя! В память о наших живых беседах, которые имели место в Париже уже десяток лет тому назад! — посылаю Вам фотографию нарисованного мной портрета Марины Цветаевой.

Знаете ли Вы, что дочь М. Ц. — Аля Эфрон, в позапрошлом году умерла в Тарусе?

А в подарок дорогому Мирко я прилагаю к этому письму снимок с одной из моих прежних скульптур. Это в знак моего с ним единомыслия!

Моя жена Ида посылает всей вашей семье свои сердечные приветы!

К. Р.

29 декабря 1976. Париж

Дорогая Галя! Дорогой Мирко!

С Новым Годом! С новым счастьем! С новыми достижениями! Большое спасибо за полученный мной от вас чудесный подарок.

Теперь я могу прогуливаться по любимому моему Празжскому Граду, не выезжая из Парижа! Жму по-товарищески руку!

К. Родзевич

Жена моя шлет всей вашей семье сердечный привет!

1 декабря 1977. Париж

Слева нарисован герб: лук и надписи:

Łuk parienty

RODZIEWICZ

Дорогая Галя!

Большое спасибо за дружескую память и за добрые вести! У меня тоже все как будто обстоит в относительном порядке. Только вот не в пример Вам я давно уже вынужден отказаться от далеких передвижений. Даже во время последних каникул всякого рода телесные недочеты не позволили мне покинуть Париж.

Но этому моему подневольному и порой очень тягостному домоседству я стараюсь противопоставить, так сказать, «духовную подвижность»: помогаю по мере сил своей жене в ее профессорской деятельности. Или же мысленно скитаюсь по не совсем еще застеленным путям моей прошлой жизни. А найдет вдохновение — строчку мемуары! К счастью, у меня есть о чем вспомнить и есть, что заново пересмотреть.

Когда полвека тому назад я учился в Праге и как студент подолгу просиживал в библиотеках, мне пришлось — не помню уж по какому поводу! — заглянуть в отдел геральдики. И там, неожиданно для себя, я напал на историю моего собственного рода: нашел мой фамильный Герб (смотри рисунок сверху!) с начертанным на нем кратким девизом — «Łuk Napięty», что в переводе с польского означает : «Лук с натянутой стрелой».

Ну вот, этому девизу, призывающему к действию, к настроенности и к нацеленности, я хотел всегда оставаться верным — радуясь или страдая, сражаясь или любя!...

Конечно, теперь, на старости лет тетива лука все более и более слабеет ... Нет былого мужества. Силы приходят в разлад, цели подернулись туманом...

Но все-таки!

Дорогая Галя! Шлю Вам и Дорогому Мирко мои самые искренние приветы!

Пусть этот год закончится для вас обоих счастливо и дружно! И пусть он принесет еще большую мощь всей нашей родной Чехословакии!

А к новому году дайте мне снова знать о себе.

Крепко обнимаю!

Ваш К. Родзевич

Р. С. Книжку сестры М. Ц. не посылайте — она у меня имеется.

22 июня 1978

Дорогие Галя и Мирко,

Спасибо за вашу дружескую память. У меня все по-старому. Продолжаю сутулиться под нарастающим грузом лет. И бо-

лее чем прежде нуждаюсь в постоянной поддержке со стороны моей верной спутницы — Иды.

К счастью, сама Ида еще полна энергии. Ведет интересную жизнь и окружает и меня ободряющей атмосферой.

Шлю вам мои самые лучшие пожелания. Крепко работайте во славу Чехословакии и будьте счастливы в личном быту!

Сердечно обнимаю!

Привет от Иды.

Родзевич

25 декабря 1978

С Новым Годом!

Дорогая Галя и дорогой Мирко!

Желаю вам от всего сердца всяческих благ и на работе, и дома. Очень жалею, что не могу вас навестить на вашей уютной улице «Mostecka» (за присланный мне снимок — благодарю!), но на путешествие в Прагу у меня теперь не хватает сил!

Крепко вас обнимаю.

К. Родзевич

18 января 1979. Париж

Дорогая Галя,

Недавно я получил от Вас большое письмо с очень красивым изображением старинного моста через Влтаву.

Большое спасибо за Ваше внимание.

Очень рад, что Ваша давняя мечта издать в Праге «Поэму Конца» Марины Цветаевой теперь как будто близится к осуществлению.

Со своей стороны я не могу в этом деле быть для вас в чем-либо полезным. Я полностью забыл и названия ресторанов, где мы бывали с Мариной, и названия улиц, по которым мы с ней прогуливались.

И все это, по-моему, не имеет никакого значения.

Ведь — «перст столба», «ресторан», «набережная», «мост» и «загород» — все это только очень ярко запечатленные картины, приобретающие в стихах, так сказать, «символический» характер.

Эти картины не следует сопровождать никакими точными «географическими» комментариями. Пусть поэма остается поэмой, а не приобретает видимость какого-то «Путеводителя» для влюбленных.

Поэтому я советую вам не загромождать книгу слишком большим количеством фотографий.

Дайте только общий вид Праги и, может быть, еще снимок моста — это достаточно для всякого литературно заинтересованного читателя.

Сделаю еще одно замечание по моему личному вопросу. Теперь в Советской прессе — в статьях, посвященных Марине Цветаевой, появляются довольно подробные отклики и обо мне.

Если вы хотите, вы можете в вашей книге указать, что «Поэма Конца» (также как и «Поэма Горы») посвящена — Константину Болеславовичу Родзевичу — бывшему в 1923/24 годах студентом Карлова Университета в Праге.

Буду терпеливо ждать присылки вашей вновь изданной книги.

А пока крепко Вас обнимаю и желаю вам безболезненно провести эту нахлынувшую на нас суровую зиму — в Париже сейчас стоят такие холода, что я вынужден почти все время отсиживаться дома!

*До свиданья, дорогая Галя!
Сердечный привет Мирко!*

К. Родзевич

P. S. — А «наша молочная» теперь, по всей вероятности, вовсе не существует — ведь с тех пор прошло более пятидесяти лет!

20 ноября 1979. Париж

Спасибо, дорогая Галя, за Ваше поздравительное письмо, посланное мне ко дню моего рождения.

Очень был рад узнать, что в вашей семье все обстоит теперь в полном благополучии: все здоровы, все при деле и все в ладу со своей судьбой. Да будет так и впредь!

В начале ноября я уже вступил в свой восемьдесят пятый — рекордный! — год жизни. Становится трудноато!

К счастью, я не один: моя давняя и добрая спутница Ида терпеливо помогает мне переносить мои стариковские немощности. Она теперь и мое третье плечо, и моя главная моральная поддержка. Рядом с ней я все еще продолжаю ковылять на собственных ногах и стараюсь держать свою голову как можно выше...

Еще раз благодарю вас, что не забыли обо мне. В моем преклонном возрасте внимание со стороны друга желаннее и полезнее медицинского лекарства.

Крепко жму руку Миреку! — Сердечный привет всей вашей семье от Иды.

*Обнимаю!
К. Родзевич*

Твердая бумага с изображением прильнувших щекой друг к другу Марины Цветаевой и Сергея Эфрона — снимок работы Константина Родзевича

Надпись: С Новым Годом.

20 декабря 1979. Париж

Дорогие Галя и Мирко, шлю вам мои наилучшие пожелания к Новому Году!

Поздравляю с наступающим в январе праздником вашей серебряной свадьбы!

Итак, бодро и счастливо вступайте в дальнейший путь до вашей свадьбы золотой!

Ида шлет сердечные приветы!

*Обнимаю!
К. Родзевич*

Алексей Хетагуров

Записки москвича

Из опытов быстротекущей жизни, кои ничему не могут научить и ничего исправить, однако могут быть любопытны, ибо описанные события происходили в прошлом веке — двадцатом.

Это время нескончаемых перемен и потрясений — вряд ли какая другая страна удержалась бы, но, как сказал незабвенный поэт: «В России самодержавие — сама держится!» И даст Бог — продержится еще долго и счастливо! Многие ей Лета! И нам, грешным, пребывать в ней.

Покушаться на творчество начал довольно рано. Еще в детстве любил имитировать оперные арии на разных языках, особенно удавались куплеты Мефистофеля. Соседи по парте удивлялись, просили повторять. Исполнял также итальянские и индийские песни — на «их» языках. Этого «полиглотства» хватило на всю жизнь. Ни одного языка, кроме родного русского, так и не освоил.

Оперные пристрастия были отмечены моей мамой, и меня отдали в музыкальную школу — учиться игре на скрипке, хотя дома был рояль, и мама неплохо на нем играла.

При прослушивании определили, что у меня абсолютный слух. Скрипка меня сразу невзлюбила — струны рвались, из смычка лезли конские волосы. Гаммы нещадно визжали и скрипели, приводя в ярость соседей по коммуналке.

Но была и польза от гамм! Соседи были шумливы и гневливы, все время на полную мощь орало радио — мама изнемо-

гала, ее постоянно мучили мигрени. Она обреченно просила: разучивай! И я наяривал что есть мочи! Двери с треском захлопывались, наступала кратковременная тишина.

Были некоторые подвижки на уроках пения, но они совпали с оставлением на второй год в общеобразовательной школе.

В итоге из музыкальной школы я был изгнан. От того времени сохранилась нотная папка с профилем Петра Ильича Чайковского и программой концерта в Малом зале консерватории, где я что-то с кем-то пел — фамилия набрана крупным шрифтом.

Изящные линии скрипки, запах канифоли, тончайшие нежные звуки — все это удел небожителей, мне осталось только восхищаться и завидовать их бытию.

Но дух творчества неутомим — он прорвался в пионерском лагере, где я был барабанщиком и брэнчал в музыкальном кружке на домре и балалайке. Впрочем — весьма посредственно.

Вот барабан пришелся по душе — я его холил и лелеял. Спал с ним ночью. Натягивал на него струны, чтобы добиться характерного сухого треска шотландского барабана, сопровождающего игру волынки. Выбивал зорю и отбой, возглавлял колонну на марше.

Однажды пошел с друзьями-пионерами в поход за «подушечками» — была такая карамель. Их как раз завезли в сельмаг. Взял с собой барабан. Туда шли нестройной толпой, спешили. К нашей радости, магазин был открыт, и удалось пополнить нехитрый запас вожделенных «подушечек», которые отроки грызли по ночам.

Возвращались опять толпой, привлекая внимание поселян отсутствием дисциплины, — а ведь «пионер всем ребятам пример»! Белые рубашки, красные пилотки и галстуки были несовместимы с расхлябанностью.

Я решил навести порядок — барабан обязывал. Выстроил наш небольшой отряд, возглавил его и застучал палочками: «Старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал...» — задал ритм.

И мы затопали по шоссе. Я был в упоении! Дубасил, что есть мочи. Деревенские бабы и детишки выскакивали на кры-

лечки и ошалело смотрели на нас. На меня почему-то показывали пальцами, а встречные водители хохотали и куда-то показывали руками.

Наконец я решил перевести дух и проверить строй. Как только барабан замолк, меня оглушил неистовый вой клаксонов! Обернувшись, я увидел, что вся команда разбежалась, а я возглавляю длиннейшую колонну машин с разъяренными водителями.

Пионерский лагерь оказал на меня благотворное влияние: пробудились дремлющие творческие силы. Барабан, домра, неистовый танец — что-то наподобие лезгинки, участие в драмкружке с неизменными чеховскими персонажами. Все это привлекло ко мне внимание.

Нужен был волк для детской оперы о Красной Шапочке — и выбор пал на меня. Из серого солдатского одеяла была сшита шкура, где-то куплена оскаленная гуттаперчевая волчья хара с длиннющими клыками, и дело пошло.

Арию волка я гудел грозным басом — аукнулись любимые куплеты Мефистофеля! Красная Шапочка трусила, бабушка причитала, соколики-дровосеки маршировали с топориками и грозили наглому волку: «Мы в лес пойдём, соколики...» Автор и постановщик сего творенья был симпатичный и интеллигентный человек по фамилии Черняк.

Наступил учебный год, а опера наша набирала силу. Выступали мы в клубах, Домах культуры, в Доме композиторов и, наконец, — на телевидении! Как тогда было принято — в прямом эфире.

Тут я выложился по полной программе: пробасил арию, вошел в раж и в пляске волка повалил половину леса. Искусный оператор сумел отвести вовремя камеру, и этот смерч в кадр не попал. Мама пошла к подруге смотреть передачу, но — как назло! — телевизор испортился! Так мама и не увидела триумф сына.

После этого репетиции и выступления следовали одно за другим. Бывало, что возвращался я уже ночью. Волка я таскал с собой в фибровом чемодане. Один раз ночью был остановлен милиционером на пустынной улице — чемодан вызвал подозрение:

— Кто? Куда? Что в чемодане?

Я сказал, что я с репетиции и что я — Волк. Милиционер напрягся, когда я открыл чемодан с оскаленной харей — он отпрянул, потом с любопытством — почтительно — посмотрел на меня. Пожелал доброго пути, сказав: «Не стоит ходить так поздно», — и отдал честь.

Все же народ наш любит людей искусства — в этом я убеждался не раз. В бытность «скрипачом» я пожинал лавры из-за профиля классика на нотной папке — вроде как был причастен: вон музыкант идет!

Я стал вести себя как капризная примадонна: опаздывал на репетиции и выступления, истязал милого, замечательного композитора — сейчас понимаю, как это гнусно. За гордыню свою был быстро и сурово наказан, как и положено: опять оставлен на второй год, уже в более зрелом возрасте. Получилось, как в старом еврейском анекдоте: отец берет дневник сынули за четверть и видит — по всем предметам двойки, а пение — «пять». И он еще поет!

Нечто подобное случилось и со мной — отец забрал меня из группы, а шкуру Волка с харей оставили коллективу. Стало скучно и нудно жить. Ходил в школу по булыжной мостовой Фурманного переулка и воображал у себя на ногах кандалы — входил в образ борца за народное счастье. Никто этого не замечал, ставили нещадно двойки — и по делу. Решил в корне поменять судьбу.

Недалеко от нашего дома, в переулке Стопани, был замечательный Дворец пионеров со множеством кружков. Я выбрал военно-морской — уж тут-то дело точно пойдет, решил я. Теперь самое время! Смастерил желтые сигнальные флажки, кушил в Военторге медную бляху с якорем, у дядюшки полковника выпросил старый ремень, соорудил — нечто матросообразное. Мама расклешила брюки — почище юбок!

Но сигнальная азбука, как назло, мне не давалась. Водоизмещение боевых судов, количество узлов, подсчет по параметрам, тоннаж — коварно отдавали математикой. Я путался в цифрах, ничего не мог сосчитать. Линкор путал с крейсером.

Стало ясно, что меня выбросят за борт. Опережая крушение, подал в отставку.

Дворец пионеров был восхитителен! Я заглядывал в другие кружки — их было много. Прекрасные аудитории, смысленные кружковцы, симпатичные педагоги. После некоторого раздумья я выбрал скульптурный кружок, потому что там пахло мокрой глиной и стояли станки.

Кругом были мокрые тряпки. Приветливые молодые люди, по возрасту старше меня, что-то валяли. Красивый пожилой скульптор делал замечания, поправки. Меня приняли, просмотрев нехитрые рисунки. Выделили станок, глину, тряпки.

Мать одобрила выбор, хотя до этого у нее были раздумья — не отдать ли меня в ученики к сапожнику — видимо, рассказы ее любимого Чехова сделали свое дело. Сапожнику гарантирована работа и заработок, а мне грозило третий раз остаться на второй год! Маму прорабатывали за неуспеваемость сына на родительских собраниях, и будущее сапожника ей представлялось избавлением от мук.

Но такового не нашлось. Сапожники работали в государственных артелях и фабриках, а я был малолетка — да и времена Ваньки Жукова давно прошли.

В кружке мне дали кусок серого пластилина, чтобы я вылепил эскиз задуманной скульптуры, — а задумал я Илью Муромца. Мне нравился богатырь, который тридцать лет спал на печи и ничего не делал, зато потом всех сокрушил. Этот образ я весьма нахально примеривал на себя.

Я вылепил мощного бородача, из фольги приладил ему шлем, сапоги, приделал щит и меч. Показал преподавателю, тот озадаченно посмотрел на меня и одобрил. Студийцы весело переглянулись.

Работа закипела, бесформенная глыба обретала черты народного героя. Уходя, я заботливо кутал его в мокрые тряпки. Но каждую ночь с богатырем происходили разительные перемены: у него безвольно обвисали руки, клонились на бок голова, лицо становилось каким-то бабьим — расплывчатым, капризным и плаксивым. Фигура грузно оседала — было по-

хоже, что он еще не вставал с печи, и до сражения с Соловьем-разбойником еще очень далеко.

Студенты с любопытством наблюдали эти превращения, но от комментариев воздерживались. Преподаватель сначала пытался помочь богатырю, но потом махнул рукой и пустил все на самотек. Образ, задуманный мною, его явно разочаровал.

В один прекрасный день я застал богатыря поверженным. У него отвалились голова и рука с мечом, а сам он весь пошел рубцами и трещинами, как после жестоко проигранной битвы — меня несколько дней не было, и глина рассохлась. Восстановлению богатырь не подлежал.

Преподаватель и студийцы прятали глаза, а мне стало понятно, что не надо людям мешать работать. Больше в студию не ходил.

На некоторое время я как бы завис в воздухе. Вплотную занялся успеваемостью, сложным подсчетом двоек и троек. Важно было при равном соотношении в конце получить тройку, чтобы она перекочевала в отчет за четверть. В противном случае грозила третья «отсидка». Сейчас я благодарю моих школьных учителей, которые приложили немало усилий и искусства, чтобы дать мне возможность закончить школу — терпение надо было иметь адское!

Первые попытки «художества» проявились случайно. Как-то во двор забрел художник, поставил этюдник и стал писать наши липы и клумбу — тогда еще дворы были огорожены высокими заборами, и жильцы выращивали там цветы.

Художник купал кисточки в душистом разбавителе — сейчас я знаю, что это было льняное масло, водил ими по холсту. Был худ и серьезен.

Потом художник появился еще раз. Меня привлекли краски и сам процесс живописания, особенно этюдник. Мне нестерпимо захотелось обладать таким же ящичком с его содержимым. Где-то впереди маячил день рождения, который я терпеть не мог и не праздновал. Но в этот раз попросил маму купить мне в подарок ящичек с красками. Рассказал про художника — тоже хочу так рисовать! Хотя данных никаких для

этого не проявлял, изображал в основном солдатиков в киверах со штыками — героев Бородина.

Наконец наступил день рождения, и мне вручили подарок — это действительно был ящичек с красками — деревянный пенал с акварелью в кюветах. Я изобразил радость, потом стал мямлить про другой ящичек, но мама отмахнулась — таких денег у нее не было. Этот пенал хранится и поныне, хотя содержимое, конечно, менялось.

Раньше в школах были уроки рисования и труда, их вел один преподаватель — как у классика: землю попашет, попишет стихи! Эти скромные, благородные люди делали добрые дела, не ожидая благодарности. Сколько таких было у нас в школе, а я даже имен их не помню!

Ящичек мой пригодился — я что-то мазюкал, преподаватель одобрял. И я опять поспешил в Дом пионеров, но на этот раз уже в районную изостудию, которую вел умный ироничный художник. Он отметил мои новации — вместо художественных композиций у меня получались яичницы-глазуньи, иногда яичницы-размазни. И был прав.

Один раз, набравшись храбрости, я взял блокнот и пошел рисовать в Музей изобразительных искусств. Попытался рисовать скульптуры, наконец добрался до Давида Микеланджело. Пристроился на лестнице около головы и начал рисовать профиль. По лестнице поднимались двое. Один — в сером костюме — спросил:

— В художественной школе учишься?

Я ответил, что нет. Тогда морда искривилась и изрекла:

— Не позорься!

Вот так и позорюсь уже несколько десятилетий. Я уже вдвое старше того советчика, а «напутствие» это помню. Но — нет худа без добра! Я сделал вывод на всю свою жизнь: надо всегда поддерживать благие начинания, где бы они ни проявлялись, и стараюсь следовать этому всегда.

Лучше не скажешь, чем Федор Иванович Тютчев:

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется!*

*И нам сочувствие даётся,
Как нам дается благодать...*

«Позориться» я все же не перестал, а надал с новой силой. Купил на собранные деньги этюдник и набор масляных красок. Этими красками писал, как акварелью — жидко. Мама рассказала о чудном месте под Москвой — Кусково — и посоветовала ездить рисовать туда.

Совет был мудрый и на всю жизнь. Первые этюды начал писать именно там. Это была чахлая аллея кустиков лип, теперь мощных, подстриженных. Канавы с осенней водой, дворцовая церквушка — написаны акварелью. Когда писал маслом этюды, почему-то казалось, что написаны ночью — с черным небом.

Кусково было тогда далеким Подмосковьем с остатками роскошных дач. В летние сезоны на кусковский пруд совершались массовые выезды горожан. Их привозили на грузовиках, автобусах. Нещадно орал громкоговоритель — развлекал граждан массовик-затейник. Радостно вопил: «Отдыхайте, товарищи! Трава — работает, вода — работает, деревья — работают, все — для вашего здоровья!»

Сейчас пруд окован бетонным бордюром, дворцовая территория окружена металлическим забором. Тогда все было открыто. Естественный берег манил к воде. Граждане-товарищи ныряли, фыркали водой. Блаженно тянули пиво на берегу — и кое-что покрепче.

Пруд такие нашествия стоически выдерживал. Там же, но гораздо позже, громкоговоритель проорал утробным голосом — в прямой трансляции — что-то вроде этого: «Пастернак нагадил там, где ест, даже свинья этого не сделает»!

Дружные аплодисменты. Ругань разносилась над владениями графов Шереметевых, подтверждая — кто был ничем, тот стал всем! Я уже знал — если власть кого-то ругает, стоит обратить внимание. Так Борис Пастернак стал одним из моих любимых поэтов и писателей.

В Кусково я написал много этюдов. Домики, сарай, купальни на заросших, затянутых ряской прудиках. Занесенные

снегом аллеи дворцового парка. Как-то стал писать такую аллею. Сыпал снег. Подбегает маленькая старушка — люблю таких: в сером шерстяном платочке, кацавейке и валенках.

— Сынок, ты снимать будешь?

Я подтвердил.

— Ты где снимать будешь?

Показал на аллею.

— Вот сейчас по ней пойду, а ты меняними!

Я сделал собачью стойку. Старушка поблагодарила и весело затрусилась по аллее, которая вела из одного конца парка в другой. При всем желании я не смог бы написать ее, так как до сего дня не умею этого делать — в два-три приема, а только путаюсь в «ногах-руках».

Неисповедимы пути Господни! Как-то сидел на скамейке в Куковском парке. Солнечный теплый осенний день. Сажу и мечтаю: жить бы здесь рядом, ходить рисовать, гулять по парку и окрестностям. Мечта, да и только!

А вот и сбылась мечта милостью Божьей и волею судьбы — живу в благословенном уголке теперь уже Москвы. Отметил я из опыта быстротекущей жизни, что если уж чего очень хорошего хочется, то оно рано или поздно сбывается. Много у меня сбылось такого, о чем мечталось, но казалось несбыточной фантазией!

Все хорошее и доброе охотно западает в детскую душу. Мама как-то рассказала мне про импрессионистов, картины которых видела в Музее изящных искусств в старом здании на Пречистенке — потом музей переехал на Волхонку. Какой там был портрет актрисы Жанны Самари работы Огюста Ренуара: «Кожа живая — дышит, воздух ощущается! Обязательно посмотри импрессионистов»!

Долгое время их негде было увидеть. В Музее изобразительных искусств была устроена выставка подарков Сталину. Я запомнил только рисинку с портретом вождя, видимым в микроскоп — работа китайских умельцев. Потом вождь отошел в мир иной, музей открыли, импрессионистов выставили, сделав оговорку: «упадническое буржуазное искусство». Но можно было ходить и смотреть. Стали привозить

выставки — лед тронулся. Это время потом назвали «оттепелью».

Блиzkих друзей и компаний у меня не было. Их заменили Третьяковка, Музей на Волхонке, выставочные залы на Кузнецком Мосту, многочисленные богатейшие московские музеи — Исторический, Политехнический, мемориальные квартиры-музеи и другие. Так, в школу я ходил мимо квартиры художника Аполлинария Васнецова.

А однажды поднялся по старой темной лестнице в квартиру Владимира Маяковского. Позвонил в старый звонок, впустили в бывшую коммунальную квартиру — двери комнат соседей запечатаны.

Слева от входа открыли дверь в маленькую комнатку. Сильно и кисло пахло старым диваном. Маленький стол, тумбочка. Скромнее некуда. Классик был пуританином, ничего себе не приобрел. Я представил, как он, застрелившись, упал и перегородил собой всю комнату...

Мне Маяковский казался советским хамом, приспособленцем — а тут скромная обстановка, потертая одежда на вешалке. Мама как раз читала его переписку с Лилей Брик, изданную в литературном наследии. Зачитывалась вся московская интеллигенция. Начал читать — Маяковский подписывался «твой Щен», то есть Щенок. Стало жалко загубленный талант.

Видел его фотографии — грубый мужик с папироской на выпяченной губе. А в гробу лежал красивый юноша с тонким одухотворенным лицом... Развешивать ярлыки — последнее дело, но это понимаешь слишком поздно.

Мои родители радовались, что я вроде бы наконец приткнулся к чему-то путному. Поощряли мои робкие попытки. Отец сам хорошо рисовал. Он учился в Первой Владикавказской гимназии — ее же окончили Вахтангов, Лисициан. Учился отец хорошо, но особенно его выделял учитель рисования, который сам окончил Училище живописи, ваяния и зодчества.

Фамилия у него была, кажется, Гусев. Он советовал мальчику стать художником, предлагал рекомендацию для поступ-

ления в училище. Отцу тоже хотелось, но он любил еще математику, поэтому был в нерешительности.

Но потом наступили смутные времена. На Кавказе тогда строго придерживались семейных традиций — «этикету», как говорил отец — почитали старших. Поэтому судьбу его решил совет старейшин — учиться на землемера. Это была почтенная и хорошо оплачиваемая профессия на Кавказе, так как в горах надо было прокладывать дороги к рудникам и населенным пунктам. Козьи тропы превращались в современные дороги, которые функционируют и поныне.

Отец воспитывался у деда, который имел дело и несколько домов во Владикавказе. Все это хозяйство хотел передать отцу, как юноше серьезному и способному.

Но наступила революция, и все пошло прахом. Родственники предлагали деду все продать и уехать — у него были связи. Но дед только посмеивался и повторял: «Эта заварушка скоро кончится».

Он почитал Государя Императора и верил, что тот спасет страну. Одного внука — моего отца — в честь императора назвал Николаем, другого — Романом, в честь всей династии.

Кончилось тем, что дед остался ни с чем. В одном из его домов ему выделили комнатку в подвале. В ней он и доживал в полной уверенности, что его ограбили разбойники, так как никого никогда не эксплуатировал и всего добился своим трудом. Единственной его радостью остались папиросы, которые он курил одну за другой, что не помешало ему дожить до преклонных лет.

Когда ему было уже за девяносто, прорезались новые зубы, и он удивлял людей молодой белозубой улыбкой! Всю жизнь он мало ел и не пил вина. Работал с молодых лет — может, в этом секрет.

Отец окончил гимназию, которая стала общеобразовательной школой, и по семейному совету его отправили учиться на землемера (геодезиста) в Московский межевой институт. Старики снабдили его письмом, удостоверявшим, что он сын бедняка-крестьянина. Бедняк-крестьянин с отличием поступил в институт и стал впоследствии заслуженным геодезистом и путешественником.

В свободные минуты он делал зарисовки и фотографии быта и природы. Любил рисовать архитектуру. Когда писал инструкции по профессии, сам их иллюстрировал. Работу свою любил и никогда не жалел о выбранном пути. Благодаря профессии он объехал — буквально облазил! — всю страну. Полюбил простых русских людей и особенно интеллигенцию, которая была для него высшим примером культуры, скромности и порядочности.

В среду рафинированной русской интеллигенции отец попал уже в студенческие годы. Сначала это были преподаватели с профессорским дореволюционным стажем. Потом судьба свела его с родственниками моей матушки и их друзьями.

Его товарищ-сокурсник как-то сказал, что его дядя — мой дед по материнской линии дружил с известным осетинским журналистом Ахметом Цаликовым, редактором «Синего журнала», после революции эмигрировавшим в Англию. Отец захотел познакомиться и засвидетельствовать свое почтение другу столь популярного в Осетии журналиста.

На звонок дверь открыла моя мама, которой тогда было тринадцать лет. Ее удивил стройный юноша в серой черкеске. У отца тогда другой одежды не было. И с тех пор он стал частым гостем ее отца и близким другом ее двоюродного брата.

Спустя несколько лет мой дед умер в возрасте пятидесяти лет — умер в день своего ангела-хранителя, архангела Михаила. Мама осталась сиротой, и ее взяли в семью брата. Там она ближе познакомилась с другом своего любимого отца, а через некоторое время они с Николаем поженились и прожили вместе более пятидесяти лет.

Молодой муж повез жену в Осетию показать родственникам. Там ее радушно приняли и тут же одели в осетинский народный костюм. Пришла вся родня, долго на нее смотрели — улыбались, кивали. Остались довольны.

Оказывается, матроны хотели удостовериться, не кривобока ли, а в костюме горянки это невозможно скрыть. Вся родня полюбила свою «ирон чинз» — осетинскую невестку, но и матушка платила им тем же, всегда вспоминала их только добром.

Когда свекровь умерла, поехала хоронить ее, так как отец был в экспедиции. Хотелось проводить в последний путь кроткую Марию и утешить, поддержать овдовевшего Иосифа — так звали крещеных в православной вере моих осетинских предков. Мария и Иосиф.

Если копнуть еще дальше, то можно углубиться в XIV век, когда, собственно, и появилась наша фамилия. Основатель ее, кабардинский княжич Хетаг, бежал в Осетию, так как принял христианство, и родственники постановили убить гяура.

Братья настигли его вблизи Алогирского ущелья, на равнине, часть которой заросла густым лесом. Братья были совсем близко, когда лес позвал его в свою спасительную чашу. «Хетаг, ко мне, ко мне!» — звал лес.

Хетаг слышал уже за спиной погоню и крикнул: «Если хочешь спасти, сам меня закрой! Не Хетаг — к лесу, а лес — к Хетагу!» Лес сдвинулся и стал непреодолимой стеной перед преследователями. Хетаг был спасен.

С тех пор лес этот называется «Роща Святого Хетага». И поныне раз в году в память этого события там происходят пиры и поминания.

Св. Хетаг благословил многих своих потомков на славные и великие дела. Мне досталось жизнеописание этой фамилии, сделанное лейб-медиком Андукапаром Хетагуровым, служившим при дворе государя-императора Николая II. Он составил генеалогическое древо и назвал все поколения Хетагуровых.

Там были военачальники, странствующий музыкант и даже воин, сразивший персидского богатыря на виду двух армий — грузинской и персидской! Причем осетин был невелик ростом, но крепок телом. Перс же был огромен, как гора, и страшен видом.

Разогнав коней, всадники столкнулись, и осетин под улюлюканье персов повернул к своим. Перс стоял на месте, но вдруг, к ужасу всей армии, верхняя половина тела богатыря качнулась и медленно свалилась к ногам лошади! Перс был перерублен пополам.

Многие потомки фамилии послужили новому Отечеству — России. Один был в числе посольства к императрице Екатерине II с просьбой добровольно принять Осетию в состав Российской империи. Государыня просьбу поддержала, и послы уехали с подарками.

Моя тетушка видела подарок императрицы у одного из родственников — драгоценные канделябры. А у самой тетушки я видел на стене красивые туры рога, оправленные в золоченое серебро. На них была гравировка с поздравлением и благодарностью лейб-медику Андусапару Хетагурову.

В один из приездов я их уже не увидел. Тетушка собралась умирать и кому-то их отдала. На мои сетования пожурила — что ж я сам их не попросил и даже не намекнул, она бы мне отдала.

Один из Хетагуровых участвовал в русско-турецкой войне за освобождение Болгарии в составе осетинского кавалерийского дивизиона, дослужился до генерала. Вообще военная карьера для осетин была предпочтительнее любой другой.

Самым знаменитым представителем фамилии был, конечно, Коста Хетагуров — поэт, художник, журналист. Отец его был кадровым военным и не мог понять выбор сына. Время от времени он с недоумением спрашивал его: «Сын, кем же ты будешь?!»

Коста с детства хорошо рисовал, любил живопись. Поступил в Петербургскую Академию художеств — учился там одновременно с Серовым и Врубелем. Учился в классе знаменитого Чистякова. Снимал комнату на Мойке, там же, где квартира Пушкина, только с другой стороны улицы.

Я случайно наткнулся на старый доходный дом с мемориальной доской Коста Хетагурова, поднялся по обшарпанной лестнице с крепким кошачьим духом, поискал место его пребывания — безуспешно: спросить было не у кого.

Запертые двери безучастно смотрели на меня и остудили мой пыл. Зимний промозглый петербургский холод пробирал до костей. Я представил, как бедный юный Коста жил здесь, поднимался по этой тусклой грязной лестнице, грелся у печки долгими зимними вечерами — один в чужом неприветливом городе.

Конечно, душу Коста согревало сознание того, что он каждый день идет мимо святого места — обители великого поэта, но и тот не любил Петербурга: «Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит...» Этот город погубил гения.

Еще Коста, конечно, любил Академию художеств и делал успехи, но нужда и тоска по родному краю гнали его прочь. Он так и не доучился в Академии.

Неисповедимы пути Господни: эти строки пишутся в деревне Ново-Раково, рядом Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Деревня эта когда-то принадлежала прадеду Пушкина, другая — Бужарово — его брату. То есть, это родовое гнездо Пушкиных.

Не продай они свои деревни, может, по-другому бы сложилась судьба великого поэта. Рядом любимая им Москва, где он родился, где был счастлив с молодой красавицей-женой — «моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец!» «Москва, я думал о тебе!» — как часто мысленно возвращался он в родной город, который, надо думать, уберег бы его от грядущих бед.

А что говорить о юноше-горце, который как альпийский цветок эдельвейс оказался в петербургской стуже. Не мог он прижиться на чужой почве, замерз бы, завял. Его звали светящиеся в ночи снежные пики гор, яркие звезды на черном небе, искрящиеся в лунном свете бурные потоки горной реки.

По берегу неслышно движутся силуэты всадников в бурках с оружием наготове — чуткие кони осторожно обходят камни. Пять-шесть всадников — куда они пробираются? Кто они — вольные люди, абреки? Какая власть над ними?

Никакой — один Господь Бог, Святой Георгий — Уастырджи, Фсати, осетинский бог охоты. Нарская котловина, Зарамаг — родовое гнездо Хетагуровых с боевыми башнями, земля древнейшей культуры, мечта любого археолога: копают уже более ста лет, и нет конца удивительным бесценным находкам.

Отметим, что первым экспонатом Государственного Исторического музея стал осетинский braslet из археологических

раскопок основателя музея графа Уварова — свою коллекцию он передал в фонд музея в тысяча восемьсот восемьдесят первом году...

Но как перекликаются судьбы: прародина великого поэта залита Истринским водохранилищем, под водой оказался монастырь Св. Георгия, где наверняка молился прадед Пушкина. У большевиков был раж заливать водой исконные русские земли и гробить славу России. С гордостью тиражировали фотографию, на которой из воды торчала колокольня с православным крестом.

Большевиков давно уже нет, а раж остался. Теперь уже залито водой родовое гнездо Хетагуровых, родина моего отца, селение Цми с церковью, где его крестили. Могила моего прадеда Ивана Хетагурова, взятого при Николае I в Санкт-Петербург в кадетский корпус.

По семейным обстоятельствам он должен был вернуться на время в Осетию, да так и остался там, не в силах расстаться с родным краем.

Волею судьбы он оказался первым учителем Коста — будущего осетинского поэта, часто наказывая его за нерадивость. Вспомним и о Пушкинском лицее — характеристику, данную Пушкину преподавателем словесности: полное отсутствие способностей к литературе.

Трудно учиться хорошо по старым схемам, если рождается в тебе что-то новое — это уж как закон. Так Альберт Эйнштейн получал двойки по физике — он видел ее на много шагов вперед.

Модильяни возмущал длинными шеями и пустыми глазами, но нарисуйте в них зрачки — они погаснут, уйдет душа. А шею вытягивал и преподобный Андрей Рублев, и никого это не удивляло. Напишите сейчас икону с темпераментом Феофана Грека — да близко не подпустят к церкви.

А предки, стало быть, были и свободнее и мудрее. Что папы, что патриархи и митрополиты — заказчики были от Бога, отсюда и расцвет Возрождения, что на Западе, что на Востоке, в России, одинаковый неповторимый взлет.

Коста стал замечательным художником и великим национальным поэтом, публицистом и мыслителем. Его изобража-

ли революционным демократом, обличителем и ниспровергателем устоев, а он был — если по совести — Коста Праведный: есть такая святость в нашей вере, ее он рано или поздно удостоится.

Коста писал иконы, картины религиозного содержания, расписывал церковь в селении Алагир.

Я помню старенькую родственницу, которая в молодые годы часто видела Коста в церкви. Он всегда стоял один, глубоко погруженный в молитву. У него был тяжелый взгляд — в то время Коста уже был безнадежно болен. «Претерпевший до конца спасен будет».

У Коста не было семьи, детей. Любовь народа не могла заменить любви близких людей. Он был одинок и удручен, судьба ему не благоволила: в раннем детстве потерял мать — она тоже была из рода Хетагуровых, но из другого колена, Хетагуровых-Губаевых. Я его внучатый племянник по этой линии, по отцу Коста был из Хетагуровых-Асаевых.

Почему я так подробно касаюсь этих хитросплетений? Да потому, что это интересно: каждый человек идет от своих корней — и где-то, как в густом лесу, они соприкасаются, переплетаются, врастают в одну почву. Все как бы родственники.

А поэты — это особь статья, это кроны, которые поднялись над остальной чащей к солнцу, к небу. Они — избраны. Бесценный дар — это Пушкин, на его языке пишут и говорят, сами того не сознавая, миллионы людей.

До него был совсем другой язык: откройте книги XVIII века — не язык, а головоломка. Например: «стоит древесна, к стене приткнута, коль пальцем ткнешь, звучит прелестно» — оказывается, рояль! Хорош только церковно-славянский — он божественный и до сих пор непревзойден, как и латынь.

А Пушкин — вечен.

Вернемся, однако, в наше время. Я помню свои мучения в школе: почему я все время должен был что-то выучивать, решать непосильные задачи? Чего от меня хотят?

Этот стопор в голове сохранился у меня до сих пор. Если я чего-то не могу понять, я уже это не хочу знать. Хотя, бывает,

и усилия-то особого не надо. Вот литература, история — там все интересно, там люди, события, жизнь. Можно представлять себя в той жизни и в будущей. Фантазиям не было предела.

Я все время что-то придумывал на уроках, и, когда меня спрашивали повторить, что говорил учитель, — я не знал, так как думал о своем.

В таком состоянии я провел все эти долгие и мучительные годы. Их скрашивала моя любимая матушка, единственная радость и свет, а также книги — любовь на всю жизнь.

Книги я полюбил сразу — неосознанно — просто за обложки, запах, переплет, шрифт. Я стал покупать книги — но, как всегда, нелепо. Денег не было, только копейки на завтрак в школе. Я никогда в школе не ел, копил на книги.

Сначала это были брошюры с выступлениями вождей на каких-то пленумах-съездах, которые я, конечно, не читал, но зато это были мои собственные книжки, своя библиотека. На другие книги денег не хватало, а брошюрки стоили копейки и были доступны.

Покупать я их ходил в какой-то научный институт на Чистых прудах. Книги лежали веером в киоске фойе. На стене был барельеф из черного гранита с уютной старушкой в очках — Крупской. Когда-то она возглавляла институт, читала доклады о вреде игрушек и елок для детей победившего пролетариата. Запрещала «Крокодила», «Мойдодыра» и «Тараканище» — держала автора стихов Корнея Чуковского в подозрении на контрреволюционность: имела на этот счет «острую ноздрю»!

Читать я стал поздно, решил, что не дастся. В школе еле осиливал грамоту. На потеху всему двору не прочел ни одной книжки, хотя уже учился в школе. Потом решил, что дастся, взял у соседей книжку Чарской «Тасино горе», всю ее прочел и потом стал читать, что называется, запоем.

То же и с курами. Во дворах тогда жили, как на дачах. Некоторые держали кур, иногда козу, кроликов. В нашем были куры, я почему-то решил их бояться. Залезал на стул и орал. Потом решил не бояться, и больше не обращал на них ника-

кого внимания. Впрочем, я кур видел впервые — дите было городское.

Помню, как-то в городе Кологриве женщина вошла в автобус с девочкой, довольно большой, которая восторженно пучила глаза и вся светилась от счастья, иногда громко басом хохотала. Женщина объяснила, что девочка из деревни и первый раз едет на автобусе. Вот вам обратная сторона медали.

Когда я прочел дореволюционное издание «Рыцарей Круглого стола», я вооружился мечом и брал приступом выброшенный кем-то во двор унитаза, о чем донесли матери.

Вместо уроков часами рубил шашкой врагов, строчил из пулемета по оккупантам. Сидел в засаде, укрытием служил валик от дивана, он же был и конем, верхом на котором я мчался в атаку с шашкой — от каждодневного участия в битвах он не выдержал и отвалился. Зеркало было то другом, то врагом — баталии разыгрывались перед ним.

К приходу мамы с работы сражения и поединки прекращались, я мазал пальцы чернилами и делал усталое лицо — мама верила и говорила: ты сделал уроки? Что ж, пора и отдохнуть, пойди, погуляй во двор!

Я устало отмахивался — двор я не любил. Там были грубые и злые люди. Дворовые бабы пугали меня суровыми карами. Одна из домоуправления поймала нас с мамой во дворе, стала кричать: я что-то натворил.

Баба грубила и входила в раж, грозила взысканием. Мама молчала, опутив голову. Рядом буксовал грузовик, колеса яростно крутились вхолостую, из-под колес летела земля. Баба не унималась, обижала маму, я подумал: сейчас в бабу должен полететь камень, и она замолчит и! — через минуту из-под колеса вылетел кирпич и угодил в несчастную.

Баба охнула и скрючилась. Шофер выскочил, перепугался, баба завывала. Потом обходила меня стороной. Я понял, что могу делать непонятные вещи!

Когда в трамвае ругались, я проговаривал про себя ругательные фразы — выбирал гражданку и про себя их проговаривал, а гражданка повторяла за мной, как будто слышала. То же делал и с кондуктором.

Один раз моя любимая тетушка о чем-то спорила с мужем, он был неуступчив. Я про себя сказал ей: «Ты ничего не понимаешь в песнопениях!» — тетушка тут же это повторила! «При чем тут песнопения?!» — недоуменно ответил он и замолчал.

Я вкладывал фразы учителям и соседям. Но не стал развивать в себе эти способности: во-первых, лень, во-вторых — зачем? Никому не вреди, тебе же вернется! Скучно жить злобой, себе дороже. Хотя в нервическом состоянии находился не только я, но и вся страна. Спокоен был только тот акын, который сидел на куче тряпья на вокзале и меланхолично пел: «Домра, домра, два струна, я хозяин вся страна!»

А мимо тащили баулы, чемоданы, узлы, шаркали тысячи ног... Вокзальная суета и неразбериха... А перед акыном была степь и безмолвие.

Наш двор на улице Чаплыгина и Чистопрудный бульвар были для меня окном в мир, ибо другого я не видел. Я рано попробовал курить, и не какую-нибудь вонючую папироску, а трубку!

У нашего подъезда целыми днями сидел инвалид в военной форме, бывший летчик, тяжело контуженый. Во рту неизменная трубка, а руки плохо держали ее, и она гасла. Знаками он подзывал меня, я набивал ее табаком из кисета и раскуривал, потом засовывал ему в рот — он благодарил кивком головы.

Потом приноровился делать это сам без всякого приглашения, к обоюдному удовольствию. И теперь на старости лет люблю потянуть трубочку. А звали инвалида дядя Ваня — один из бесчисленных героев войны.

Военное время я помню смутно: темный коридор, раннее утро и «Вставай, страна огромная!» — из репродуктора. В песне угроза, на душе тоска, страх...

Или мальчишеский голос поет, как печатает:

*Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,*

*Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!*

Многие военные песни я воспринимал буквально, применительно к себе или близким. Например, «Катюшу» — как песню про мою Катю, юную девушку-беженку, которая заботилась обо мне, когда мама была на работе.

Катя была из деревни под Смоленском. Они с братом и сестрой остались сиротами, когда деревню заняли немцы. Брат был слепой, кормиться было нечем, хозяйство разрушено. Брат стал ходить с котелком к немцам, когда у них был обеденный перерыв. Солдаты жалели сирот и доверху накладывали котелок кашей.

Потом подошел фронт, немцы ушли, деревня сгорела. Так Катя попала к нам и стала членом семьи, много лет еще жила у нас, потом ушла на завод и получила свою комнату — мы праздновали новоселье.

Добрейшая и благороднейшая Катя прожила долгую жизнь, была маленькая и почти не менялась. Последние годы плохо видела, но ежедневно ходила кормить голубей и воробьев. Светлая ей память.

Книги окунули меня в большую жизнь, можно было совершать путешествия по книжным магазинам, коих было множество по всем старым улицам.

Огромные букинистические магазины, пахнувшие старой кожей и бумагой. На полках фолианты с золотым обрезами, тисненые переплеты. Можно было брать книги, листать их, но это в знак особой милости продавца, коей я удостаивался редко, так как был не кредитоспособен.

Один раз накопил денег на книгу Диккенса «Холодный дом» в суперобложке с видом старого Лондона. Купить ее было невтерпеж, обошел все магазины — как назло, нигде нет. Помню, около решетки университета на Моховой встал в засаду: наверняка кто-то несет «Холодный дом» в букинистический, который был дальше по маршруту.

Останавливал всех с толстыми портфелями: «Мне нужна книга „Холодный дом”!» И, как правило, в ответ было: «А причем тут я?!» Было похоже на пароль в знаменитом фильме «Подвиг разведчика»: «У вас продается славянский шкаф?» — «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой». Там, правда, ответ был утвердительный.

Вечер зимний, смурной. Драповые пальто, боты, галоши, шляпы, портфели. В кармане вожделенные скопленные рубли, а книги нет — тоска. За решеткой университета — студенты, отличники, счастливы.

Я держусь руками за холодный металл решетки, с завистью смотрю на недостижимый храм науки, на веселую молодежь: мне никогда не быть среди них, не учиться в университете — может, в каком-нибудь училище, и то вряд ли. Говорят, есть книжный техникум, но и туда с двойками не возьмут. Будущее покрыто мглой, безнадежно.

«Холодный дом» я так и не прочел, хотя потом подписался на тридцатитомник Диккенса, он и сейчас стоит в шкафу. Дорого яичко ко Христову дню.

Всю неделю я ждал воскресенья, и тогда от дома шел по книжным магазинам — от Чистых прудов до Арбата. Заодно заходил в антикварный одноэтажный особнячок на Арбате. Картины, золотые рамы, часы с боем, канделябры. Папки с гравюрами. Иногда совсем недорого. Зря я помешался на книжках, можно было там купить кое-что интересное, и вполне доступно.

Например, Айвазовского. Это были хорошего качества фотографии, на которых маститый старец с раздвоенной бородой-баками с палитрой в руке сидел у мольберта и писал что-то морское. В фотографии на мольберте было прорезано окошечко, в котором вставлена бумажечка с акварелью — иногда парус, иногда волна, но всегда подлинная подпись Айвазовского и год. Стоило весьма недорого — рублей десять-пятнадцать, как хорошая книга.

Помню, хотел купить: на деревянной дощечке прекрасная обнаженная игриво взмахнула ножкой — на птичку. Семнад-

цать рублей, тоже доступно. Но, к сожалению, не купил, постеснялся — родители не поймут, заподозрят!

Как-то около меня стояла старуха в черном, с виду — как монашка. Попросила: снимите мне вон тот морской пейзаж! Он был в золотой раме — морская бухта, вдали берег, вроде как в Крыму. Старуха сказала: это Италия, а написал сын Горького с натуры. Уже давно висит, никто не покупает, решила забрать обратно, все же — сын Горького, а она — жена автора.

Стало быть, это была когда-то знаменитая красавица «Тимоша», с которой связано много историй, и которой так понравилась селечка на Соловках, где она была «на экскурсии» со свекром-классиком, а «экскурсоводом» был Генрих Ягода.

Классик умилялся душегубам: «Черти драповые, какое великое дело вы делаете!» Какое великое дело они делали — отсылаю к Солженицыну и Шаламову, что побывали в этих кругах ада. «Монашка» картину забрала и, опираясь на палку, пошла в администрацию. Я с интересом разглядывал ее: она была вовсе не старуха — тонкое лицо, внимательные глаза, что называется, остатки былой красоты, но бедность, вдовый век — забвение.

Иногда рассматриваю фотографии круга Горького, времен его пребывания в Совдепии: среди образин, упырей — хорошенькое девичье личико, не без шарма — одно слово: «Тимоша»!

Особенно оживали книжные рынки, когда проводились декады литературы и искусства союзных республик. Приезжали писатели, поэты. Выступали в книжных магазинах, давали автографы. Продавались книги республиканских издательств, весьма экзотические, например: Фирдоуси «Шах-наме» с золотым тиснением или Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», с красавцами Таризлом и Тинатин.

А «Дни поэзии», когда книжные магазины превращались в клубы, поэты читали стихи, читатели были слушателями. Заказывали авторам прочесть полюбившиеся стихи.

Я помню совсем молодого грузина с усиками — Булата Окуджаву — он многозначительно читал что-то о дураках, на которых

навешивают ярлыки. Слушатели понимающе кивали, хмыкали, все было со значением, с фигой в кармане, и не только.

А Заболоцкий стоял один у прилавка — золотые очки, дорогая шапка, меховой воротник, пухлое лицо — академик, писатель, таких на улице не встретишь. Протирал очки, что-то прятал в большой кожаный портфель. Был значителен и недоступен.

Потом прочел его стихи — оказалось, прекрасный поэт, много выстрадал, и, слава Богу, дожил до признания. Востребован и сегодня.

Книгами тогда менялись, продавали друг другу, ночами стояли за подпиской...

О, книга, книга! — я бы пропел тебе гимн, но нет хора! Ты окунаешь в прошлое и предвидишь будущее, твои герои бессмертны. Одних ты, читатель, обожаешь, других ненавидишь: в детстве ты — Том Сойер и Пятнадцатилетний капитан, вместе с героями совершаешь путешествие на воздушном шаре, опускаешься на дно океана с капитаном Немо, летишь по небу с кузнецом Вакулой, а внизу занесенные снегом хаты, вокруг них — плетни, на них забытые горшки и крынки. Улыбается острым серпом месяц, обледенелые тополя свечками выстроились по краям дороги. Спит земля, спят ее обитатели. Праведен ее сон. Тебе же не хочется спать...

Я склеил из детского календаря панораму: Диканька, месяц, Вакула на черте, хатки. Через окно луна освещает мою нехитрую экспозицию. Я прочел «Вечера на хуторе близ Диканьки» — «Ночь перед Рождеством», панорамка рядом на стуле. Я смотрю — она оживает! Я опять в любимом книжном мире!

На мое счастье отец купил четырехтомник Гоголя, все читали по очереди. Синие тома вкусно пахнут новым коленкором, дореволюционные иллюстрации, добротная бумага, четкий шрифт. Гоголь и сейчас на почетном месте.

До сих пор мне снятся книжные магазины: я покупаю старопечатные книги, мне что-то откладывают, я беспокоюсь, не уйдет ли от меня заветный экземпляр.

Грустное время наступило: многие книги, которые я с таким трудом доставал — или упустил, я вижу теперь на помой-

ках. Они сиротливо смотрят на меня. Хорошо, если поставили их стопкой рядом с помойным баком, а то и вовсе бросили в бак вместе со всякой дрянью.

Много хороших книг я забрал оттуда. Даже прекрасно изданные книги по искусству в хорошем состоянии. Как-то увидел: под угол бака подложен красный том — для ровности сооружения. Вытащил — оказался Маяковский, «поэт великий на все времена», как изрек корифей всех наук и отец всех народов.

Книги поменяли на какой-то технический лохотрон. Разве можно чем-то заменить книгу — это целый мир, культура, эстетика! Сколько художников, умельцев вложили в нее свой труд: одних шрифтов сотни, я уже не говорю об иллюстрациях, заставках, буквицах! А переплеты, корешки, запах страниц!

Я с закрытыми глазами узнавал по запаху, где издана книга — у нас или за рубежом, какого она времени. Книжные полки всегда вносят умиротворение, покой.

Многие Лета тебе, книга! А человек перебесится, ты найдешь себе нового читателя, преданного и любящего.

С какими интересными людьми я общался благодаря книге! Например, в здании гостиницы «Метрополь» был маленький книжный магазин, специализировался на открытках, гравюрах и старопечатных книгах. Иногда совсем не дорого.

Я купил там какую-то повесть издания XVIII века — «О Петре Прованском и прекрасной Магелоне», начиналась она так: «Тиранство некоторых вельмож...» Или обличительное сочинение о брате короля Людовика XVI, который перешел на сторону душегубов-якобинцев и упивался вместе с ними кровью, но, конечно, недолго. Предателей никто не любит — его тоже обезглавили.

Я захаживал в магазин просто посмотреть рисунки и акварели, которые тоже там продавались. Продащица была маленькая, ядовито-злая, всегда старалась унижить безденежного покупателя.

Но держала хозяйство в образцовом порядке, с любовью. Иногда в знак особой милости давала полистать папку или

потасовать открытки. Но я побаивался ее, смотрел из-за спины счастливцев, которым доверяли сокровища.

Один раз поднялся по лестнице и вместо нее обнаружил за прилавком актера Бориса Андреева, всеми любимого и популярного. Каждому новому покупателю он представлялся густым басом: «Андреев! Андреев!» Хотя все его и так узнавали.

Хозяйка гордо стояла в стороне и радовалась сюрпризу — он удался. Артисту явно была по душе роль продавца книг, он играл ее с удовольствием — покупатели, правда, робели и были лишь зрителями.

Честно говоря, за все долгие годы я ни разу не видел столь симпатичного и обаятельного продавца. О, волшебная сила искусства!

Я заметил: Борисы часто фактурны, круглолицы с виду, простачки, но себе на уме, что называется, с русской смекалкой. С талантами, не всегда раскрытыми из-за «зеленого змия», который беспощаден ко всем, ему приверженным.

Моя любовь к книгам оказалась взаимной, для меня благодатной. Учителя по литературе заметили мою любовь к их предмету, и наступил просвет в моем школярстве. Произошло это в девятом и десятом классах, а поскольку я был дважды второгодником, для меня это были уже одиннадцатый и двенадцатый!

Первая учительница, Таисия Петровна — яркая дама, с виду мрачная, а добрейшей души! С неизменной папироской на переменах. Углядела во мне плохого актера, который стал блистать на школьной сцене — она была режиссером и постановщиком.

Годичные «гастроли» прошли успешно, я был офицером вермахта, Скалозубом из «Горя от ума», Хириным из «Юбилея» Чехова, «тонким» из «Толстого и тонкого» — другим при всем желании не мог быть ввиду дистрофичной худобы.

В десятом классе «гастроли» продолжались при другом классном руководителе — тоже преподаватель литературы, Зоя Ивановна, интеллигентнейшая, милейшая дама, вспоминаю ее с большой любовью. Благодаря ей я, наверное, и закончил школу. На уроках я много и нахально с ней спорил — подрывал устои. Поражаюсь ее терпению!

Репертуар расширился при другом режиссере — преподавателе английского языка Вилене Марковиче. С виду молодой, порывистый и очень культурный, он был фронтовиком: пошел на войну добровольцем сразу после выпускного вечера, вместе со всем своим классом.

Он ставил пьесы советской тематики, в основном про комсомольцев. Там мне места не нашлось, к взаимному удовольствию. Это был бы нелепо, так как на собрании по приему меня в комсомол я гневно выступил с разоблачениями самого себя. Кандидатуру сняли и больше меня не беспокоили.

Кто-то все же стукнул куда надо, и позднее стал я невыездыным до самой перестройки — спасибо ее режиссеру, а то не видать бы мне стран неведомых и людей «с песьими головами». Кто-то очень мстительно гадил: то отбирали билет в день вылета — «а вы не едете!»; то прививали холеру и опять не пускали, выдав справку, что холера привита.

Я понял, что органы работают вхолостую: в это время драпали партийные бонзы и перебежали агенты.

Когда, наконец, выпустили на юбилей Ван Гога, спросили будничным тоном: «На постоянку?» Я не понял, какая постоянка, зачем? Ведь «дым Отечества нам сладок и приятен»! Нелепо в мальчишеском максимализме видеть крамолу, ведь эта революционность с годами плавно переходит в стойкую реакционность, все возвращается на круги своя...

Великодушные учителя дотянули меня до аттестата зрелости. При вручении аттестата всем играли туш, когда назвали меня, я был уверен, что настанет мертвая тишина, оркестр замолчит — но, к моему изумлению, он и мне отгрохал музыку! Я таки получил заветный аттестат, где были одни тройки, лишь по истории «4» и по поведению — «5», что сомнительно!

В характеристике, приложенной к аттестату, я был назван «любимым актером школы» и вообще как бы неплохим парнем: Зоя Ивановна увидела во мне добрые начала. Рекомендовано мне было поступать в театральное училище и быть актером.

Но я никуда не пошел — двенадцать лет сидения за партой, крепкие двойки и хилые тройки сделали свое дело. Решил за-

кончить свое образование полностью. Мама моего приятеля устроила меня в свой проектный институт чертежником-конструктором.

По черчению я тоже получал двойки, так что работник из меня вышел очень «ценный». У меня появился наставник Костя, с плакатной внешностью передовика-комсомольца. На самом деле — конструктор-технарь от Бога. С терпением стойкого комсомольца объясняя мне очередную работу, закуривал ядовитую папиросу «Север» и увлеченно «читал» огромную «синьку», как роман.

Я ничего не понимал, но кивал головой. Потом старался не ошибиться в подводке вентиляции к сануздам. В общем, институт был замечательный и люди прекрасные.

Начальник отдела по фамилии Элинсон, инвалид войны, был образцом интеллигентности. Когда кто-то опаздывал или затягивал перекур, он стеснялся и прятался за толстыми стеклами очков. Раньше я никогда не видел такого мягкого и благородного человека, а чтобы держать отдел в руках, у него был заместитель — дама крутая, но справедливая. Словом, не отдел, а дружная семья.

Для праздничных вечеров снимали клубы, фойе больших учреждений — пили вино, танцевали, пели. Как-то такой вечер состоялся в институте в том самом фойе, где я когда-то покупал брошюры Политиздата. Все так же со стены смотрела барельефом старушка в очках. Мне показалось, что теперь она смотрела с каким-то осуждением: что вы тут пляшете?! Ильяч этого не любил, он был архи-серьезен.

Запомнилась мне еще чертежница Галя, на всех вечерах она любила петь: «Чтобы рядом всегда бились вместе сердца...» или «Давай никогда не ссориться, никогда, никогда...» — глаза мечтательно блестели, носик краснел в волнении. Девушке хотелось любви, она о ней пела, говорила, читала.

Я посмеивался над ней, зачем-то нахамил — она обиделась. Мне стыдно до сих пор. Так и осталась в памяти рейсшина, чертежная доска и милая скромная девушка: «Чтобы вместе всегда бились рядом сердца...» Надеюсь, такое сердце ей встретилось...

С хорошим коллективом пришлось распрощаться — институт переехал на другой конец города, и я нашел другой, опять в районе Кировской, как и предыдущий. Увидел вывеску «Гипромедпром» и смело направился в отдел кадров, там без промедления взяли, так как предыдущее место работы было указано как «ГСПИ, чертежник-конструктор» — тропа оказалась проторена.

Чертежников, как понимаю, не хватало. Опять хороший коллектив, опять симпатичный деликатный еврей-начальник. В мой первый рабочий день коллектив угощал вином уходящий на пенсию сотрудник — со всеми прощался за руку теплой пухлой ладонью. Впереди отдых, пенсия.

Но через неделю сообщили, что он умер! Сотрудники пошли его хоронить. Всю жизнь работал, отдыхать не привык, пенсия показалась катастрофой, а мог бы и дальше работать — его любили. Помню, он был полноватый богатырь с большой лысой головой, с добрыми глазами, полными печали.

Работа была мне знакома, люди тоже. Опять вечера, но уже в отделе. Песни, танцы, походы с палатками и кострами. В общем, прекрасные люди работали в проектных институтах. Чудные девушки, хорошие ребята, старшее поколение журило и делилось опытом.

Может, надо было остаться с ними до конца дней, чему-нибудь я бы научился, не только вентилировать сортиры! Платили мало, но приемлемо — больше я не получал, хоть и сменил более десятка мест.

Судьба дает шанс для спокойной жизни, а мы его не используем. Посылает хороших людей и все остальное, а мы опять мечемся: надо найти свое, настоящее — дальше, дальше! Но известно: чем дальше залезешь, тем больше падать. Ничему не учит чужой пример, все надо пройти самому. Мотылек сжигает свои крылья.

Я решил поступать в институт и ушел в отпуск. В курилке говорил, что при МГУ есть хорошая изостудия, поэтому пойду туда — верх нахальства! Я стал готовиться. Собрался идти на исторический в пединститут или в историко-архивный.

Лето сидел в Фирсановке, на мансарде, где снимали дачу у колоритных почтенных староверов. Как-то, сидя за учебником, услышал истошные вопли из леса. Пошел туда: среди елок раздувался и спускался белый пушистый шарик — котенок! Что было сил звал на помощь, не желал погибать.

Увидев меня, быстро подбежал, по штанине забрался мне под куртку, а чтобы я его не достал, перелез на спину.

Я решил его взять, но проверить смекалку и прыть: достал, поставил на землю и пошел — белый клубок быстро настиг меня и повторил маневр.

Дома он не мог напиться молока, пока окончательно не «раздулся». Свалился спать — так и поселился у нас на долгие годы с именем Онуфрий.

Был ума и озорства недюжинного. Любил выкидывать книги с полок — одну за другой, подцепив лапой за корешок, и на этой куче заваливался спать. Если я хотел его наказать, мама просила: «Не трогай его, ты же видишь, в каком он состоянии!», а он был в состоянии предельной наглости. Потом он писал со мной диплом, заваливаясь спать на страницах — морально поддерживал!

Учебники были прочитаны, шпаргалки написаны. Я не пользовался ими, это были как бы конспекты, и мне становилось спокойнее, когда они лежали в кармане — я мог перед экзаменом их просмотреть.

Набравшись духу, взял документы и направился в историко-архивный. Стояла очередь абитуриентов. Баба в растянутой голубой кофте злобно орала, что сегодня уже не принимают. Баба была грубая — базарная. Как же так — храм науки и такая баба, из моих нелюбимых, чего же там ждать хорошего?!

Эти бабы, как фурии, возникали периодически в разные годы — похожие друг на друга, как одна и та же баба, только менялись кофты: осатанело орала, не пускали в церковь, театр, столовую, автобус, поезд, магазин, к врачу и так далее. Последний раз не пустили в Изобразительный музей имени Пушкина, куда я решил сводить мою старенькую маму.

Времени до закрытия было еще много, но вышла такая же баба и стала орать, что музей закрывается. Несмотря на угово-

ры и мое музейное удостоверение, так и не пустили. Это был последний выход мамы в люди.

Спустя годы я понял, в чем дело. Преодолев грустные воспоминания, решил пойти на экспозицию — и опять, несмотря на дневное время, объявили по радио, что музей закрывается. Смотрители суетились и выгоняли немногочисленных посетителей.

Вдали я углядел директора музея с очередным музыкальным светилом, который завернул в музей пофуршетить — у него был день рождения. А посетитель — всего лишь быдло, и чем больше часов стоит оно в очередях на престижные выставки, тем почетнее музею. Нелепо и дико.

Канули в Лету славные дела Третьяковых, Кокорева, Морозовых, Бахрушина, Цветаева и других, положивших жизни на алтарь Отечества.

В этот музей я больше не ходок.

Решил узнать, а что там в МГУ, благо идти было пятнадцать минут — исторический факультет находился на Герцена (деканат), а сам факультет — на Моховой, в старом крыле здания.

Вошел в старинный особняк, поднялся по лестнице — никого. Лепнина, росписи, книжные шкафы заполнены толстыми томами — корешки с тиснением: «Петр Могила», еще много старинных томов. Храм Науки, да и только!

Выходит откуда-то миниатюрная дама — из моих любимых, с высокой прической, с тонким интеллигентным лицом, на вороте блузки — массивная камей с античным профилем. Я всегда выделял дам с камеями, они вызывали почтение, всегда были интересны внутренне и внешне.

Дама оказалась из приемной комиссии, но пришел я не вовремя, хотя сделали мне исключение, раз пришел. У них конкурс был пять человек на место. А каковы мои успехи в школе? Я сказал, что успехи — одни тройки. Это очень плохо, сказала дама.

Тогда еще был в ходу «комсомольский набор» — льготы для активистов и для тех, кто со стажем партийной работы. Я сообщил, что не комсомолец, не вступал. Дама сказала —

это совсем плохо. Мы возьмем все же ваши документы, а вы готовьтесь — все зависит от вас. Прочла характеристику, посмотрела аттестат: в нем среди троек сиротливо ютилась четверка по истории. Дама пожелала мне успеха. Я понял — мне здесь не учиться...

Но еще есть время готовиться, и я опять засел за учебники. Наконец, наступили экзамены. Сдавал средненько, ничего не светило.

Думаю, что попал в университет из-за государя-императора Александра I. Сдавал последний предмет, историю, экзаменатор — молодой интеллигент в золотых очках, породистое, тонкое лицо, рядом такой же ассистент.

На вопросы я отвечал неуверенно, ни шатко ни валко. Что-то о Соборном уложении тысяча шестьсот сорок девятого года — год мне подсказал экзаменатор, что-то о самоубийстве генерала Каледина, что-то об основных сражениях войны тысяча восемьсот двенадцатого года.

Какой император правил тогда, спросили меня. Терять было нечего, и я ответил: Александр Первый Благословенный. В школе такого титула не поминали, а я прочитал в пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных» — знал ее наизусть: это сцена в актовом зале, сбор юнкеров перед портретом Государя.

Повисла мертвая тишина. Я понял, что провалился окончательно. Пауза затянулась. Ассистент пожал плечами — ничего, мол, не поделаешь. Экзаменатор строго сказал, что ставит мне пятерку, а ассистенту — подчеркните красным карандашом!

Не иначе, как Благословенному я обязан пятеркой, да еще тому неведомому благодетелю-экзаменатору, имени которого я так и не узнал и которого за все время учебы — к большому сожалению — так ни разу и не встретил. Поминаю его добром и поныне. Дай Бог ему здоровья, если еще жив. «Сто лят ему!» — как говорят поляки. Спасибо, открыл мне дверь в самые лучшие годы жизни — в Московский университет!

Однако до проходного балла я, как считал, не дотягивал и опять впал в уныние. Мама утешала и что-то говорила о «чистых» и «нечистых» из прочитанного фельетона: ты, конечно, «нечистый», так что — не переживай!

Собрался опять вернуться в чертежники. Пошел все же посмотреть списки принятых и, не веря своим глазам — увидел себя! Этого не могло быть, чтобы я попал в университет. Я даже не мечтал об этом.

Побежал к маме на работу, вызвал ее в тамбур подъезда и сообщил. Мама совершила какой-то радостный круговой танец по обширному периметру: наконец-то счастлива! После многих лет слез и унижений за нерадивого сына!

Честно говоря, я с таким остервенением готовился и хотел поступить не для себя, а для родителей, которые испытывали из-за меня какое-то постоянное поношение: у всех дети как дети, а тут — пробел в человеческом разумении, Бог знает что! Пример для всех, но отрицательный.

Многие родственники недоумевали, правда, был один сосед по дому по фамилии Казанцев — интеллигент, преподаватель какого-то технического института, который говорил: дочь моя отличница, но она из обыкновенных, а толк будет из этого двоечника. Семья эта была из репрессированных большевиков. Спасибо ему на добром слове, надеюсь, оправдал, хотя бы частично.

Скажите, было ли на свете место лучше, чем исторический факультет МГУ на Моховой — отвечу: не было и не будет! Там была такая круглая аудитория, названная почему-то «коммунистической», а когда сделали ремонт, открылась надпись: «Вход господам студентам справа». Писано не для коммунистов — ими тогда и не пахло, а для студентов. Идеология, политика меняются, а студенты остаются. Народ этот славный во все времена.

Дед мой учился тоже на Моховой, на экономическом, может, ходил в те же аудитории. А еще раньше учились там многие великие люди. Основан университет в тысяча семьсот пятьдесят пятом году государыней-императрицей Елизаветой Петровной, для людей из народа — разночинцев, как тогда говорили. Любой мог поступить в него, учили бесплатно, даже денег давали на кошт.

Дух Московского университета неистребим, он и сейчас — лучшее учебное заведение страны. А для меня — так и всего мира!

Поступал я на вечернее отделение, так как туда не надо было сдавать иностранный язык, который я так и не осилил, мне хватало русского. Даже зарубежную литературу недолюбливал из-за иностранных имен — раздражали! Я путался в Томах, Джеках, Мэри, Рудольфах — бросал, не дочитав. Исключение — Диккенс, у которого всегда хороший конец и предел счастья — уютный домик на старость. Ой, как это неплохо, однако! Понимаешь с годами.

Исторический факультет был открыт, демократичен, согревал душу. Преподаватели, все увлеченные своими предметами — я бы переписал эти славные имена, но не все помню.

Они учили нас думать самостоятельно, вникать в суть дела, изучать источники. Я не пропускал лекций и занятий, все было интересно. Зачем обманывать самого себя! Когда кто-то хвастался, что не готовился к экзаменам и все сдал, я думал: ну и дурак, что хорошего?

Экзамены ведь заставляют тебя окунуться в мир Троянской войны, Крестовых походов, героев тысяча восемьсот двенадцатого года, и еще Бог знает чего, чем полна великая наука — История, мать всех наук.

Курсовую можно было выбрать любую, но, конечно, по теме предмета, что я и сделал. Можно было писать о заговоре Катилины, избличенного Цицероном, о культуре древнего Новгорода — любое благое начинание поддерживалось на историческом факультете.

Половина преподавателей были фронтовики, прошедшие войну. Они относились к нам, вечерникам, дружелюбно, товарищески. Более молодые держали дистанцию, но всегда были открыты для диалога, всегда были готовы ответить на интересующий вопрос.

Историки — это особь статья! Увлеченные люди. Каждый несет в себе ту эпоху, которая стала для него смыслом жизни, и ориентируется в ней иной раз лучше, чем в современной. Я много видел таких примеров.

Без истории, историков люди были бы просто стадом, «Иванами, не помнящими родства», как говорили в старину. А еще хуже — «без царя в голове», чего и сейчас хватает с лих-

вой. Все это мы уже проходили, и расплачивались дорогой ценой: потерей целого поколения. Вспомнили об истории, традициях, когда беда подошла к самому дому. Будем беречь заветы предков — она к нам никогда и не подойдет.

Тревожно, что книгу вытесняет липкая веселуха и чернуха по зомби-ящичку. Поэтов, писателей и художников заменили пошлые и наглые шоумены: «бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре...»

Неужто должны быть новые испытания, чтобы рассеялась, сгинула вся эта гламурная нечисть?!

«Яко исчезает дым, да исчезнут...»

Вопрос остается без ответа — время покажет.

Борис Мансуров

Неугасимый «тайный жар» Марины Цветаевой

Тайный жар и есть — жизнь!

М. Ц.

Жизнь и творчество поэта Марины Цветаевой изучаются и оцениваются многочисленными маститыми и малоизвестными литераторами России и за рубежом. Ее гениальность отметил один из самых скупых на похвалы в адрес поэтов Нобелевский лауреат поэт Иосиф Бродский: «Марина Цветаева — первый поэт XX века в мире».

Борис Пастернак говорил о Цветаевой: «Таланта поэта-женщины Марины Цветаевой хватит на десять поэтов-мужчин».

Однако, ни один из исследователей огромного наследия Марины Цветаевой, среди которых подавляющее большинство женщины, не отвечают на вопрос: какой женщиной была Марина Цветаева?

Несомненно, суть женщины проявляется в ее отношении к любви. И главным «камнем преткновения» для ясного ответа на поставленный выше вопрос является история короткого периода взаимоотношений Марины Цветаевой с поэтессой Софией Парнок. Об этом периоде встреч Марины с Парнок написана пьеса с характерным названием «Окаянные женщины?...»¹.

В предисловии к пьесе критик Вера Ермолова пишет: «Жизнь великих поэтов настолько сложна и бездонна, что

¹ Автор Валерия Врублевская, М., 2003 г.

многое в ней не поддается обыденному пониманию». И затем Ермолова предупреждает: «Вот-вот издадут дневники ее сына Мура¹. Издатели говорят, что они перевернут наше представление о Марине».

В две тысячи пятом году в московском издательстве «Эллис Лак» вышли два тома «Дневников» Мура, но они не «перевернули представление о Марине». Дневники показали неожиданную зрелость, трагизм жизни и глубину понимания шестнадцатилетним Муром бесчеловечной сути советского строя.

К последним работам по означенной выше теме отношу эссе Вячеслава Недошивина с «ярким» названием «Цветаева и... пустота» и книгу Лины Кертман «Безмерность в мире мер. Моя Цветаева».

Однако, наиболее близкой и подробной работой на тему: «Какой женщиной была Марина Цветаева?» является эссе известного цветаевода Ирмы Кудровой: «О странностях любви: Марина Цветаева». В этом эссе Кудрова, наиболее глубокий исследователь поэтической души Марины Цветаевой, отмечает: «В необычайно богатом мире Цветаевой обнаружилось неисчислимое количество граней любовного чувства».

Рассмотрение многочисленных граней не позволило Кудровой, как и другим цветаеводам, дать ясный ответ на выше заданный вопрос.

Кертман в своей книге приводит цитату из письма Марины к молодому критику Владимиру Бахраху, написанного в сентябре девятьсот тринадцатого года в Чехии:

«Вы говорите — женщина. Да, есть во мне это — мало — слабо — налетами — отражением — отображением... Друг, друг, я ведь дух, душа, существо...»

Цветаева не была слишком верующей: «Не любила казенную церковь».

Прочитав ее рассказ «Черт», можно скорее говорить о Цветаевой, как о малoverующей, то есть ее «дух, душа» совсем не

¹ Сын Марины Цветаевой, чьи дневники, как и многие письма и дневники Марины Цветаевой, до 2000 года были закрыты в ЦГАЛИ по воле Ариадны Эфрон. — Б. М.

церковного ряда. Еще Марина сообщала в письме философу Василию Розанову: «Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни».

Период жизни и любви Цветаевой в Чехии с двадцать второго по двадцать пятый годы подробно проанализировала Кудрова, сделав вывод, что ей «стала понятна природа, органика Марины Цветаевой». И заключает: «Цветаева отрицает причуды влечений, игнорирует голос пола — по крайней мере, в себе».

В своем эссе Кудрова выделяет «превосходную работу» Елены Лавровой «Поэтическое мирозерцание М. И. Цветаевой», соглашаясь с тезисом автора: «Духовное начало Цветаевой не считало себя женщиной и находилось в противоречии с ее телесной оболочкой. Ее психофизика была андрогенной, то есть наделенной ослабленным чувством половой принадлежности».

На мой взгляд, это заключение глубоко ошибочное.

Об этом поговорим подробнее, внимательно читая ее стихи, сокровенные записные книжки, откровенные письма к Анне Тесковой и важные наблюдения современников и друзей Марины, о которых часто забывают цветаеведы.

В воспоминаниях Вали Генерозовой, гимназической подруги Марины, перед нами возникает образ свободолюбивой и непокорной девушки, мечтающей «принимать участие в борьбе за свободу и светлое будущее угнетенных людей». Валентина пишет:

«Я не забыла, как Марина возмущалась Наташей Ростовой, вышедшей замуж и превратившейся из многообещающей девушки в обыкновенную «наседку», ушедшую с головой в житейские мелочи. Марина уверяла меня, что в будущей личной жизни она будет свободна от пут заурядного семейного быта, отдаваясь целиком работе на революционном и литературном поприще».

Марина отказывает их любимому с сестрой Асей студенту-репетитору, поэту-символисту Эллису, по прозвищу Чародей, выйти за него замуж. В том же девятьсот десятом году Марина издает первую книжку своих стихов «Вечерний альбом», где есть стихотворение «бывшему Чародею» со строками:

*Вам сердце рвёт тоска, сомненье в лучшем сея.
— «Брось камень, не щади! Я жду, больней ужаль!»
Нет, ненавистна мне надменность фарисея,
Я грешников люблю, и мне вас только жаль.*

Книга стихов Цветаевой получила благосклонные отзывы известных поэтов Брюсова, Гумилева и восторженный отзыв от поэта Максимилиана Волошина. По его приглашению в мае одиннадцатого года Марина приезжает в поэтический Коктебель, который стал началом расцвета ее завораживающей женственности. Этот период жизни Марины заслуживает подробного изучения во многом еще и потому, что за ним последовала ее «окаянная встреча» с Софией Парнок.

В Коктебеле же встречает Марина красивого и благородного юношу Сергея Эфрона. У него трагическая судьба: Сергей слаб здоровьем, его мама, Елизавета Дурново, из старинного дворянского рода стала революционеркой, была арестована и находилась в царской тюрьме. Выпущенная из тюрьмы, она бежала из России и с мужем жила в эмиграции, в Париже.

В Коктебеле произошел счастливый случай — Сергей находит на пляже любимый камень Цветаевой — сердолик, что определяет решение Марины выйти за него замуж. Это происходит через год после ее отказа Эллису.

Марина и Сергей венчаются в Москве в январе двенадцатого года в храме на Большой Никитской, где венчался Пушкин с Натальей Гончаровой. В сентябре у Марины с Сергеем рождается дочь Ариадна.

Этот год отмечен также выходом в свет второго сборника Цветаевой «Волшебный фонарь», в который вошли стихи, написанные Мариной в Коктебеле и Феодосии. Влюбившись в волошинскую Киммерию, Марина с мужем и дочкой Алей через год приезжает в Коктебель.

Там Цветаева познакомилась с ярким и видным московским адвокатом Михаилом Фельдштейном, получившим в коктебельском сообществе прозвище «Король». Встречи и

беседы с ним вызывают у Марины явление «тайного жара», что отражено в ее письмах и стихах к нему.

Письмо Цветаевой к Фельдштейну от мая тринадцатого года: «Я буду счастлива, я знаю, что существенно, что и не существенно. Я умею удерживаться и не удерживаться, у меня ничего нельзя отнять, раз внутри — значит мое». Узнав о выезде «Короля» за границу, Марина пишет ему: «Без Вас наша жизнь потеряла много остроты. Много еще хотелось бы Вам сказать».

И в стихотворении Марины звучит смущение и досада «загоревшейся» женщины, не получившей ответного «тайного жара»:

*Мальчиком, бегущим резво,
Я предстала Вам.
Вы посмеивались трезво
Злым моим словам...
— Только вы не уловили
Грозную стрелу
Лёгких слов моих, и нежность
Гнева напоказ...
— Каменную безнадёжность
Всех моих проказ!*

И вновь жаркое письмо Марины летит к «Королю» в июне: «Слушайте, это не фраза: чтобы потом не было, я никогда не отрекусь, что Вы одна из самых моих благородных встреч».

Семья Марины переезжает в Феодосию, где они поселяются на холме на даче Редлихов. В декабре Марина посылает очередное письмо Фельдштейну:

«Сейчас вся Феодосия в луне. Я бежала вниз со своей горы и смотрела на свою длинную черную-черную тень, галопирующую передо мною... Завтра будет готово мое новое платье — страшно праздничное: ослепительно-синий атлас с ослепительно-красными маленькими розами.

Не ужасайтесь!... Сегодня лунная ночь, а завтра будет готово мое новое платье...»

Эта мятущаяся душа поэта, в которой пылает «тайный жар», рождает десять ярких стихотворений, среди которых та-

кие знаменитые: «Уж сколько их упало в эту бездну», «Быть нежной, бешеной и шумной», «Генералам двенадцатого года»...

Горящая душа Марины пишет о своей боли:

*Вы, идущие мимо меня,
Не к моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растроченной даром.*

Тогда прозвучал ныне известнейший призыв Цветаевой к «идущим мимо»:

*— К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованием веры
И с просьбой о любви.*

Казалось, это восклицает одинокая, чужая окружающему миру женщина. Но у Марины любящий верный муж и любимая дочь Аля.

Марина с сестрой Асей часто с большим успехом выступают в Феодосии на званых вечерах с чтением стихов. Нет необходимости приводить все восторженные дневниковые записи Марины на эту тему. В Сочельник Цветаева записывает в дневнике: «Мне на вид не больше восемнадцати лет, даже меньше. Я никогда еще не была так хороша, уверена и счастлива этим, как эту зиму».

С января четырнадцатого семья Марины вновь в Феодосии, где Сергей погружается в интенсивные занятия для сдачи многочисленных экзаменов в гимназии, что приводит к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Марина пишет в письме к Розанову: «Сейчас во всем моем существе какое-то ликование... Наша встреча с Сережей — чудо... Он мой самый родной на всю жизнь... *Только при нем я могу жить так, как живу — совершенно свободная*» (выделено мною — Б. М.).

Запись в дневнике Цветаевой: «Пишу стихи Эллису. Выходит вроде поэмы. Усиленно «шьюсь», заказываю портнихе платье за платьем».

В апреле Марина сообщает Розанову: «Пятого мая у Сережи начинаются экзамены на аттестат. Он занимается по семнадцать часов в день, истощен и худ до крайности».

Марина восклицает: «Я не знаю женщины, талантливее себя к стихам. «Евгений Онегин» и «Горе от ума» — вот вещи вполне в моих возможностях... в Феодосии нас знают решительно все... Когда мы с Асей идем по Итальянской, за спиной сплошь да рядом такие фразы: — «Цветаевы!» — «Поэтессы идут» — «Дочери царя». Мужчины нас определенно любят. О женщинах — умолчим».

Запись Марины от седьмого мая: «У меня масса летних платьев — около десяти одних пестрых. Одно совсем золотое — турецкое, с черным по-желтому, прямо горит».

В мае Цветаева записывает: «Как чудно в Феодосии! Сколько солнца и зелени! Сколько праздника! ...Вернулся Сережа с экзамена, совершенно зеленый, с воспаленными глазами — привидение».

Для понимания состояния души яркой и пленительной Марины Цветаевой в Киммерии, где «столько солнца и столько праздника», важны воспоминания Елизаветы Кривошапкиной, родственницы Редлихов. Елизавета жила с мужем на той же «даче Редлихов», где тогда жила Цветаева с Сергеем и Алей. Она пишет в своих воспоминаниях:

«Весной четырнадцатого года у Сергея Яковлевича обострился процесс в легких. Он был очень слаб, мало ходил и даже экзамен сдавал, сидя на стуле. Марина была крайне озадачена и однажды при мне говорит Сергею: „На последний экзамен я тебя доставлю с почетом — на катафалке». Я была шокирована».

Другой эпизод вспоминает Кривошапкина из лета того года на веранде дома Волошина:

«Художник Магда Нахман писала портрет Сергея Эфрона. Он лежал в шезлонге. Тут же, на полу, обхватив руками колени, сидела и курила Марина. Щурясь от дыма папиросы, она сказала: «Сережа, закрой глаза», а потом со смехом: «Какой симпатичный получился покойник».

Это уже не юмор, а боль и горечь молодой, красивой женщины, которая осознает, что не получит ответного тайного жара от мужа, с которым повенчана.

О красоте Цветаевой в те годы пишет актриса Кузнецова-Гринева¹. Она встречается Цветаеву на праздничном вечере «Курсов драмы» в Москве:

«Увидев эту молодую женщину у зеркала, я от изумления замираю... Это волшебная девушка из восемнадцатого века. Под золотой шапкой волос я вижу овал ее лица, чуткий нос с чуть заметной горбинкой и зеленоватые глаза ее, глаза волшебницы. Обаятельная, интимная, музыкальная, ритмическая ее манера читать стихи пленила нас... Не похожа ни на кого!»

Валя Генерозова, соученица Марины по московской гимназии, не видела Цветаеву более пяти лет после того, как Марина ушла из гимназии из-за своего свободолюбивого нрава.

В своих воспоминаниях Генерозова пишет о неожиданной встрече в конце четырнадцатого года: *«Однажды я шла по Борисоглебскому переулку² и увидела впереди себя веселую компанию, где выделялась женщина, оживленно что-то рассказывающая... Приблизилась к ним... И вдруг... знакомый — знакомый голос... Да ведь это Марина! Но какая Марина! Совсем другая: в красном пальто с пелериной, отделанной мехом, в такой же шапочке, в модных туфлях на высоких каблуках, со свободной и легкой походкой. Да неужели это та самая Марина, издевавшаяся в пансионе над девочками, которые восхищались виденными на ком-то „туалетах“?»*

Яркий и выразительный портрет Марины Цветаевой в цвете нарисовал московский художник Руслан Крупышев. За основу взята была фотография, тогда были лишь черно-белые снимки Марины в Феодосии, и описание образа Цветаевой,

¹ Мария Кузнецова-Гринева в четырнадцатом году станет женой Бориса Трухачева, первого мужа Анастасии Цветаевой. Марина Цветаева будет дружить с Кузнецовой-Гриневой, а в двадцать втором году при отъезде в эмиграцию скажет ей: «Там у меня родится сын, которого назову Георгий!»

² В 1914 году семья Марины уже жила в Москве по адресу Борисоглебский переулке дом 6, где в 1992 году был открыт Дом-музей Марины Цветаевой. — Б. М.

который запечатлела в своих воспоминаниях актриса Мария Кузнецова-Гринева. Этот портрет «феодосийской» Марины известен участникам Цветаевских костров многих стран.

Гордую и пленительную красавицу Марину в красном купальнике на коктебельском пляже запомнила и Елизавета Тараховская.

Какой знаменитый персонаж в Испании особенно любил красный цвет, написала сама Цветаева:

*Стоит, запрокинув горло
И рот закусил в кровь.
И руку под грудь упёрла —
Под левую — где любовь!*

Неутоленная страсть Марины стала причиной ее «окаянной» дружбы с умной, ироничной и роковой поэтессой Софией Парнок, почувывшей в красивой и свободолюбивой молодой женщине «тайный жар», ожечься о который боялись мужчины.

Романтичная, рыжеволосая София была на семь лет старше Марины, училась в Женевской консерватории и блестяще владела словом. Позже ее эссе о поэтах стали знаменитыми: именно перу Парнок принадлежит утверждение о «Большой четверке поэтов Серебряного века: Пастернак, Цветаева, Ахматова и Мандельштам».

Близость Марины и Парнок продолжалась около года и стала причиной ухода Сергея в пятнадцатом году на фронт в санитарный поезд.

Расстались «жаркие» женщины в начале шестнадцатого года. В те дни Марина писала Петру Юркевичу: «То, что Вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, — мне это не нужно... А я хочу легкости, свободы, взаимопонимания, — никого не держать и чтобы никто не держал!»

И еще одна из ранних записей в дневнике Цветаевой: «Понимаете, роман может быть с мужчиной, с женщиной, с ребенком, может быть с книгой. Любить только женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), исключая необычное, — какая скука».

Под такими знаменами свободной любви «полыхала малиновой юбкой» и страстная, свободолюбивая Кармен! Цветаева создала в этот «окаанный» период череду пленительных стихов: «Под лаской плюшевого пледа», «Ночью под кофейной гущей», «Как голову мою сжимали Вы, лаская каждый завиток»...

Тогда появилась в стихотворении Марины такая строфа:

*Во мне. — Все каторжные страсти
Свились в одну! —
Так в волосах моих — все масти
Ведут войну!*

Однако, и в период встреч с Парнок яркая Марина Цветаева с неутолимым «тайным жаром» ждала встречи с настоящим идадьго, к которому обращалась в стихах:

*Цветок к груди приколот,
Кто приколол — не помню.
Ненасытен мой голод
На грусть, на страсть, на смерть.*

*...Зовёте вы, зовёте
Нелюбленные мной!
Но есть еще услада:
Я жду того, кто первый
Поймёт меня, как надо —
И выстрелит в упор!*

На волне встреч с Парнок родилось у Марины «цыганское» стихотворение, хорошо характеризующее состояние ее души:

*Какой-нибудь предок мой был скрипач,
Наездник и вор при этом.
Не потому ли нрав бродяч
И волосы пахнут ветром!
...Плохой товарищ он был — лихой
И ласковый был любовник!*

В тяжкие годы революции, когда Сергей Эфрон оказался с белыми на юге и пропал, а Марина с двумя дочка-

ми — младшая дочь Ирина родилась в апреле семнадцатого — выживала в голодной и холодной Москве, ее не покидало спасительное тепло «тайного жара», который помогал выжить.

Близким человек, от которого она ждала ответного чувства, стал художник Николай Николаевич Вышеславцев. О нем Цветаева написала в дневнике: «Н. Н. встречался, ждал, радовался, смеялся, провожал ночью до Поварской, гладил по голове. Глядя на свои руки, вспоминает ли он иногда, что я их целовала?»

Однажды Марине почудилось, что он пригласит ее к себе домой, о чем Цветаева сделала запись в дневнике: «Н. Н. В первый раз, когда вы меня провожали, я в первый раз за всю мою жизнь остановилась не перед своим домом. Как истолковать: хочу домой, но не к себе (к Вам)».

Однако, Вышеславцев был увлечен другой женщиной и попросил Марину записать ее стихи, чтобы подарить их той женщине. В измученной тяжелой жизнью Цветаевой Вышеславцев видел лишь страдающую мать несчастных детей, что отобразил художник в созданном им портрете Марины того времени.

...В феврале двадцатого умирает в приюте маленькая Ирина, и предательство Вышеславцева особенно ранит Марину. Она запишет в дневнике:

«Н. Н. У Вас душа есть (для себя!) — ласковость рук от Вас! — для меня оскорбление. Другие продаются за деньги, я — за душу. Вот я, делай что хочешь, я буду все делать...»

Я ведь тебе ничего не сделала, прости меня...»

Крик души покинутой женщины прозвучал в ныне широко известном стихотворении Марины Цветаевой на эту вечную в мире «женскую» тему:

*Вчера ещё в глаза глядел,
А нынче всё косится в сторону!
Вчера ещё до птиц сидел, —
Все жаворонки нынче — воронь!*

*... Жизнь приучил в самом огне,
Сам бросил в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал — мне.
Мой милый, что тебе — я сделала?*

Другой объект тайного жара Марины Цветаевой в разоренной Москве — актер Юрий Завадский, игравший роли героев-красавцев.

После роли принца Калафа в «Принцессе Турандот», Завадского осаждали десятки восторженных поклонниц. В него была влюблена и «подруга души» Марины Цветаевой «добрейшее существо», актриса Сонечка Голлидэй. Марина для Завадского написала пьесы в стихах на тему обольстителя Казановы: «Приключения» (Казанова и Генриэтта) и «Конец Казановы».

Завадскому посвятила Цветаева цикл «Комедьянт» из четырнадцати стихотворений.

С грустной иронией относилась Цветаева к бездушному Завадскому, но тот был строен, миловиден и всегда на виду у женщин, что Марину привлекало в мужчине. Об этом Марина писала: «Что я любила в людях? Их наружность. Остальное — подгоняла».

И другая запись в дневнике объясняет это увлечение Цветаевой: «Замысел моей жизни был: быть любимой семнадцати лет Казановой (Чужим!) — брошенной — и растить от него прекрасного сына. И — любить всех...»

В стихотворении, посвященном Завадскому, от которого бессмысленно было ждать ответного «тайного жара», Марина пишет:

*Ваш нежный рот — сплошное целованье...
— И это всё, и я совсем как нищий.
— Любовь ли это — или любованье,
Пера причуда — иль первопричина,
Томленье ли по ангельскому чину —
Иль чуточку притворства — по призванью.*

Эта «щенячья увлеченность» женщин Завадским вызывала удивление и возмущение у талантливого и мужественно-

го актера Володи Алексеева. Он в сердцах говорит Цветаевой и Сонечке: «Есть вещи, которые мужчина в женщине не может понять. Даже — я, даже — в вас. Завадский — это ваша общая женская тайна...(усмехнувшись)... даже заговор».

В «Повести о Сонечке» Цветаева так характеризует Юрия Завадского: «Все в нем было от ангела, кроме слов и поступков!»

Алексеев тайно уезжает из Москвы на Дон, чтобы в Белой армии сражаться против «красной чумы».

Характерно письмо отчаяния, которое Марина пишет актрисе и поэтессе Вере Звягинцевой после смерти дочери Ирины и отъезда Володи Алексеева, который «не мог играть, когда другие умирают»:

«Мы с Алей — такие брошенные — она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться? Что меня связывает с жизнью? Мне двадцать семь лет, а все равно как старуха. У меня никогда не будет настоящего... с каким презрением я думаю о своих стихах».

Цветаева пишет в те дни:

*Пока легион гигантов
Редел на донском песке,
Я с бандой комедиантов
Браталась в чумной Москве.*

В конце двадцать первого года Марина неожиданно узнает, что Сергей Эфрон жив и находится в Праге. Письмо с этой вестью от Ильи Эренбурга приносит Цветаевой в Борисоглебский переулок поэт Борис Пастернак.

При содействии министра Анатолия Васильевича Луначарского в мае двадцать второго года Цветаевой с Алей удастся уехать в эмиграцию. Вначале они селятся в Берлине, где Марина оживает, окунувшись в атмосферу свободной жизни и поэтического окружения российской диаспоры в Германии.

В начале двадцать второго года вышел поэтический сборник Марины Цветаевой «Версты 1». Она готовит новый сборник стихов «Версты-2», встречаясь с издателем «Геликона» Абрамом Вишняком.

Статный, красивый и талантливый Вишняк вызывает у Марины явление «тайного жара». Цветаева пишет ему — «геликону» — череду писем, позже вошедших в ее автобиографическую прозу «флорентийские ночи». Эти письма Марины показывают состояние истерзанной души женщины, жаждущей любви:

«Вы освобождаете во мне мою женскую суть, мое самое темное и внутреннее существо... Уведите меня куда-нибудь вечером — на весь вечер. Чтобы, обретя вас, я немного вас забыла... Я хочу от вас моей любви к вам, вами принятой... Вчера вечером не было света, и я локти себе кусала от желания писать вам (от ярости, что не могу этого делать). Я легла на пол и рычала, как собака... Мой любимый! Завтра спрошу: что вам приснилось в четверть второго ночи?...

Милый! В сторону всякие ласковости, уничижительности. Вы дороги мне, но мне нечем больше дышать с вами».

Первого августа двадцать второго года Марина с Алей покидают Берлин и едут в Прагу к Сергею, где начинается чешский период их жизни в эмиграции. Цветаева с увлечением погружается в культурную среду русской эмиграции, имея окружение в лице офицеров Белой армии, литературной и артистической элиты, покинувшей большевистскую Россию.

Редактор пражского русскоязычного журнала «Воля России» Марк Слоним, предлагает печатать все стихи и прозу поэта Цветаевой, о таланте которой уже знают в Европе.

Марина получает пособие как значимый представитель русской культуры от первого Президента Чехословакии Томаша Масарика, завязывает дружбу с замечательной чешкой, знающей русский язык, председателем Чешско-русского общества (Едноты) — Анной Тесковой.

Трудное материальное положение вынуждает семью жить, попеременно, в селах Новые Дворы, Иловищи, Мокропсы, Холоупки, Вшеноры недалеко от Праги, где живет большинство русских студентов, бывших офицеров Белой армии. Первое стихотворение Марины в Чехии провозгласило:

*Сивилла: выжжена, Сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но Бог вошёл...*

Цветаева возрождалась, и, конечно, вновь должен был вспыхнуть ее «тайный жар», без которого не может быть стихов. К яркой, просвещенной и талантливой Марине тянулись десятки интересных людей, спешили в ее сферу влияния.

Она стала одним из лидеров Вшенорско-мокропсинского литературного сообщества, которое часто собиралось на красивой вилле «Боженка» во Вшенорах. Ее стихи и прозу печатают в известных русскоязычных журналах Парижа, Праги, Берлина.

И, конечно, Цветаева требует от людей своего окружения ответного «тайного жара».

Известный критик Роман Гуль называет Цветаеву «поэтом с большим голосом». С Гулем Цветаева была откровенна, что позволило ему в своих воспоминаниях — сказать, что от Марка Слонима, редактора — соучредителя известного журнала «Воля России» русской эмиграции в Праге, которого Марина с иронией называла «невинный», Цветаева «требовала большего, чем дружба».

Конец года прошел у Цветаевой под знаком завершения поэмы страсти «Молодец», в которой девушка отказывается от родни и матери ради безумной любви к юноше-демону. Неожиданно прозвучало посвящение Цветаевой к поэме «Молодец»: *«За игру твою великую, за утехи твои за нежные...»*

Адресовано посвящение Борису Пастернаку, с которым у Марины завязалась жаркая переписка. Это стало ярчайшим проявлением эпистолярной влюбленности двух больших поэтов.

Литераторы, исследователи любовной лирики Цветаевой, не обратили внимание на поэму «Молодец», а потому пропустили и ее знаковое стихотворение «Офелия — в защиту королевы». Его Марина написала в Чехии сразу за поэмой.

О «Молодце» и об «Офелии...» — ни слова: ни в статье «О странностях любви Марины Цветаевой» Кудровой, что особенно досадно, ни у Недошивина, ни у Кертман. Моя хо-

рошая знакомая литератор и знаток поэзии называла эти творения Цветаевой «возмутительными».

Стихотворение «Офелия — в защиту королевы» стало криком женщины о пылающем в ее душе «тайном жаре» — неупокоенной страсти.

Вот его главные строфы:

*Принц Гамлет! Довольно царицыны недра
Порочить... Не девственным — суд
Над страстью. Тяжеле виновная — Федра¹:
О ней и поныне поют.
... Принц Гамлет! Не вашего разума дело
Судить воспалённую кровь.
Но если... тогда берегитесь!... Сквозь плиты —
Ввысь — в опочивальню — и власть!
Своей Королеве встаю на защиту —
Я, Ваша бессмертная страсть!*

Зная драму Шекспира «Гамлет», где мать принца Гамлета Гертруда становится женой убийцы ее мужа-короля, действительно, стихотворение Цветаевой в защиту Гертруды вызывает оторопь. Но Цветаева утверждает, что страсть женщины — выше ее разума и должна быть принята миром, как плата за страдания.

Марина делает запись в дневнике: «Измены нет. Женщины любят не мужчин, а любовь. Потому никогда не изменяют. «Муж» и «любовник» — вздор. Тайная жизнь и явная. Тайная — что может быть слаще?»

В Чехии Марина, наконец, встретила человека, «надобного ей», загоревшегося от нее ответным «тайным жаром». Им стал белый офицер, учившийся теперь вместе с Сергеем Эфроном в Карловом университете Праги, Константин Родзевич.

¹ Федра из-за неудовлетворенной страсти к пасынку оклеветала его и обрекла на гибель. — Б. М.

Вспомним письмо Цветаевой к Бахраху, которое процитировано вначале этого эссе из книги Кертман, о женщине, которой в Марине «мало — слабо — налетами...».

Письмо к Бахраху появилось двадцать третьего августа, а уже двадцать седьмого Марина пишет Родзевичу:

«Мой родной Радзевич, (простите за А, но я веду Вас от Радзивиллов). Вчера на дороге, под луной, расставаясь с Вами и держа Вашу руку в своей, мне безумно хотелось поцеловать Вас... Я глубоко счастлива... Это не пафос, это мои чувства, которые всегда больше моих слов... А пока — жму Вашу руку и жду Вас — как условились...»

Затем случились четыре дня головокружительных, жарких встреч Марины с Родзевичем. Это произошло в дни обустройства с участием Родзевича квартиры Цветаевой, расположенной на Петршином холме в Праге.

С третьего сентября Сергей с Алей находились в пансионе в Моравской Тшебове. Через три дня Марина едет к дочери и пишет Родзевичу:

«До сих пор не очнулась от последней Праги и не знаю, как и когда войду в русло той моей жизни: стихов, природы, покоя... Я никогда не смогу сказать Вам, как Вы за несколько дней стали мне дороги...».

От жара души Марины родился стих «Овраг», который она шлет Родзевичу в письме:

*Дно — оврага. Ночь — корягой.
Шарящая. Встряски хвой.
Клятв — не надо.
Ляг — и лягу.
Ты бродягой стал со мной.
Никогда не знаешь, что жгу, что трачу
(Сердце перебой)
На груди твоей нежной, пустой, горячей,
Гордец дорогой...*

Из письма Марины к Родзевичу: «А может, это Бог хочет сделать меня женщиной?.. Шлю вам привет и благодарность. Поцелуйте за меня Казанову!»

В новом письме к Родзевичу Цветаева восклицает: *«Мой дорогой. Исполняю не Вашу просьбу, а свою жажду — пишу Вам...»*

Я в первый раз в жизни люблю счастливого, и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть!... Вы сделали надо мной чудо...

Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, — вспомни. Прикосновение губ к груди... Друг, я вся твоя.

Письмо от двадцать пятого сентября — осознание неизбежности их встречи:

«Не тоска ли, жажда толкнула к Вам там на станции? Тоска по довроплощению...»

Это была жажда, в утоление которой я не верила¹... Я с вами только в начале пути... Любите меня».

Тридцатилетняя Марина Цветаева, еще год назад выглядевшая Мегерой на портрете Вышеславцева, в стихии влюбленности и пламени «тайного жара» стала похожа на юную счастливую невесту. Таким ее запечатлела фотография двадцать третьего года, сделанная на холмах села Мокропсы.

Письмо Марины, которая охвачена страстью: *«Мой родной, мой любимый, мой очаровательный и что всего важнее и нежнее: мой! Жду восьмого, живу восьмым... Не знаю удастся ли мне в понедельник проводить Вас на вокзал. Я и так выдаю себя с головой (с сердцем!)... Моя дорогая радость!»*

В письме от девятого октября проявилась тема страдания Марины: *«Я в Вашу жизнь вношу смуту. Мне нужно просто верить Вам... Все мое горе — что я не с Вами».*

Письмо Родзевичу от двадцатого ноября: *«Мой родной. Как давно я Вас не видела... Кроме Вас, мне никого не нужно... Мой мальчик, Вы не знаете, как я Вас люблю... Где и когда я смогу тебе закинуть за шею руки — прижаться — так!»*

Сергей Эфрон, узнавший о связи Марины с Родзевичем, стал настаивать на разрыве.

Известно письмо Сергея к Максиму Волошину об этой драме, отосланное в конце декабря двадцать третьего года:

¹ Выделено мною — Б. М.

«Дорогой мой Макс! Единственный человек, кому я могу сказать все, — конечно, Ты. Марина — человек страстей. Отдаваться с головой своему урагану — для нее стало необходимостью, воздухом жизни... Нечего говорить, что я на расстопку не гожусь уже давно... Когда я приехал к Марине в Берлин, уже тогда почувствовал, что Марине дать я ничего не могу... Последний этап — для меня и для нее самый тяжелый — встреча с моим другом по Константинополю и Праге, человеком ей совершенно далеким...»

Нужно было покончить с совместной нелепой жизнью, питанной ложью, неумелой конспирацией и пр. и пр. ядами... О моем решении разъехаться я сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому (на это время она переехала к знакомым), впервые я ее видел в таком состоянии. И, наконец, объявила мне, что уйти от меня она не может, ибо сознание, что я нахожусь в одиночестве, не даст ей не только счастья, но и покоя... Жизнь моя сплошная пытка... Она сейчас уверена, что жертвенно отказавшись от своего счастья, — кует мое...».

Однако, неугасимый «тайный жар» Марины не позволяет ей навсегда расстаться с Родзевичем. В январе двадцать четвертого года Цветаева пишет ему:

«Мой родной, слышу, что Вы больны. Если будете лежать — позовите меня непременно.»

Решение не видеться не распространяется ни на Вашу болезнь, ни на мою¹... Живу снами о Вас и стихами к Вам, другой жизни нет...»

«Тайный жар» Цветаевой рождает знаменитые «Поэму Горы» и «Поэму Конца», которые Пастернак назвал «двумя шедеврами Марины Цветаевой».

Строки из «Поэмы Горы»:

*Дай мне о Горе спеть
Наверху горы.
Та гора была как грудь
Рекрута, снарядом сваленного.*

¹ Выделено мною — Б. М.

*Никто в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть, —
Как сами себе верны!*

В ночь с тридцать первого января на первое февраля двадцать пятого года у Марины Цветаевой во Вшенорах родился долгожданный сын. После колебаний и сомнений Марины сына назвали Георгием, а в семье его величали Муром.

Считая реальным иметь большие возможности для творчества и воспитания детей в культурной столице мира — Париже, где жили десятки тысяч эмигрантов из России, Цветаева принимает решение уехать с семьей во Францию.

Отправившись из Чехии в парижскую эмиграцию в ноябре двадцать пятого, Цветаева помогает Родзевичу на следующий год также перебраться в Париж. Узнав, что Родзевич женится на Муне Булгаковой, Марина пишет ему из Парижа в Прагу:

«Христос Воскресе, дорогой Радзевич!

...Я говорила о Вашей визе своей приятельнице Саломее Николаевне Гальперн — умной, милой и очаровательной. Ваше дело устроено... Вам нужно к ней заявиться.

...Милый Радзевич, я совсем не радуюсь Вашей женитьбе, но раз вы решили, мне нужно вам помочь. Будьте счастливы не женой, так Парижем и — от всего сердца говорю — моей дружбой, которая стоит моей любви».

И в последующие годы жизни в парижской эмиграции Цветаева поддерживала связь с Родзевичем, ответившим на ее «тайный жар». Об этом говорит и прощальное письмо, написанное Цветаевой своему верному чешскому другу Анне Тесковой двенадцатого июня тридцать девятого года из вагона поезда, увозящего ее с Муром навсегда в советскую Россию на гибель:

«Дорогая Анна Антоновна! (Пишу на ладони).

Кончается жизнь семнадцати лет. Какая я тогда была счастливая! Самый счастливый период моей жизни это — запомните! — Мокропсы и Вшеноры, и еще та самая моя род-

ная Гора. Вчера на улице встретила ее героя, которого не видела — годы. Он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Муру и мне: пошел в середине — как ни в чем не бывало...»

Последние трагические годы жизни Цветаевой «под колпаком» в советской России, где арестовали ее дочь Ариадну и мужа Сергея, привели к отторжению поэта от творчества: Марина Ивановна не писала стихов. Однако и в этих условиях духовной тюрьмы в ней сохранялся неутолимый «тайный жар».

Весной сорок первого года неожиданно вспыхнула искра, вызвавшая воспламенение души поэта.

Об этом пишет в своих «Воспоминаниях» актриса МХАТа Нина Яковлева:

«Марина Цветаева и Арсений Тарковский познакомились весной сорок первого у меня дома. Мне хорошо запомнился этот день. Я зачем-то вышла из комнаты. Когда я вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла: так было у Дункан с Есениным. Встретились, взметнулись, метнулись. Поэт к поэту.

В народе говорят: «Любовь с первого взгляда». Они обменивались стихами. Помню, что у Марины говорилось о «пире вдвоем»... Той весной был традиционный Книжный базар в ЦДЛ. Мне нездоровилось. Марина пошла одна. Она вернулась вне себя от гнева. Поэт (Арсений Тарковский — Б.М.) был не один. Он не подошел к ней. Даже не поклонился. Будто даже знакомы не были... Это была их последняя встреча.

Вскоре мы с Мариной приглашены были на Масловку к Нине Гольдман, у которой в тот вечер собирались поэты. Приглашен был и Арсений. Марина отказалась наотрез. Вечер мы провели вдвоем».

Это предательство вызвало в душе Цветаевой столь резкую реакцию поэта, что привело к рождению знаменитого стихотворения «Все повторяю первый стих...» — ответ на стихотворение Арсения Тарковского: «Я стол накрыл на шестерых».

Заключительная строфа:

*Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг — и всё же укоряю:
— Ты, стол накрывший на шесть душ,
Меня не посадивший — с краю.*

Пастернак называл это стихотворение «последним шедевром Марины Цветаевой».

Поэт Борис Пастернак видел в Марине Цветаевой страстную Женщину с гениальным поэтическим даром. Прочитав ее стихи в сборнике «Версты», Пастернак шлет ей свой сборник стихов «Сестра моя — жизнь» и пишет Марине: «*Вы — не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт.*»

Прочитав «Поэму Горы» и «Поэму Конца», Пастернак ошеломлен и восхищен явлением страсти Женщины и «бегают по Москве», читая друзьям эти «жаркие поэмы» Цветаевой.

Он шлет Марине письмо: «*Сильнейшая любовь, на которую я способен, только часть моего чувства к тебе... Ты такая прекрасная... Ты моя и всегда была моею, и вся моя жизнь — тебе...*»

В одной из моих бесед с Ольгой Ивинской¹, последней любовью Бориса Пастернака, — а мне посчастливилось часто бывать у нее и беседовать последние семь лет ее жизни, — у нас шла речь о стихотворении Пастернака «Вакханалия».

В «Вакханалии» есть такие строки:

*Всё в ней жизнь, всё — свобода,
И в груди колотьё,
И торемные своды
Не сломили её.*

Пастернак сказал Ольге, что эти строки прямо относятся к Марине Цветаевой.

В письме к поэту Марина утверждает: «*Человек задуман один... Где два — там ложь. Как жить с душой в квартире? Живя Вами, я всю жизнь буду жить — тем!*»

¹ Воспоминания Ольги Ивинской (1912–1995) о реальной жизни и творчестве Бориса Пастернака послевоенного периода (с 1946 по 1960 годы), которые она не могла опубликовать при советской власти, изданы мною в книге «Лара моего романа...», М., 2009 г. — Б. М.

Запись Цветаевой в ее дневнике о встрече с Сергеем Эфроном: *«Личная моя жизнь не удалась... Ранняя встреча с человеком из прекрасных — прекраснейших, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке».*

Другая запись о родстве душ с Пастернаком: *«С Борисом мне не жить, но сына от него хочу, чтобы он в нем через меня жил».*

Из воспоминаний Марии Белкиной, часто встречавшейся с Мариной Цветаевой в сороковом-сорок первом годах:

«Увлечения Марины Ивановны тех последних лет проходили на глазах у всех нас. Она их не таила... У нас зашел разговор о книге Сигрид Ундсет «Кристин, дочь Лавранса», которую Марина Ивановна так любила. Я сказала, что любовь Кристин кажется мне несколько надуманной: безумная страсть, убийство, колдовство — все ради того, чтобы любимый мужчина был с тобой! Марина Ивановна считала что, по ее мнению, образ Кристин самый яркий из женский образов, созданных во всей мировой литературе за все века... Кто-то заметил, что в романе и есть только одна Кристин, а мужчины там, словно тени, и играют подсобную роль.

«Как и в жизни! — сказала Марина Ивановна. — В любви главная роль принадлежит женщине, она ведет игру, она вас выбирает, вы не ведущие, ведомые!»

Важный штрих к неугасимому «тайному жару» Цветаевой.

В сорок первом году Марина Ивановна пишет дочери Ариадне в советский концлагерь, что обменяла редкую книгу, которую привезла из Парижа, на Собрание сочинений писателя Николая Лескова.

Среди его произведений Цветаева особо ценила роман «Соборяне» и повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Эта повесть о страстной женщине Катерине, которая убивает свекра и нелюбимого мужа ради любви к молодому работнику Сергею. Когда она понимает, что Сергей ее разлюбил и увлечен молодой девушкой Сонеткой, то Катерина на пароме хватается Сонетку и вместе с ней бросается в реку на погибель.

Из дневников Марины: *«Все, в чем был тайный жар, я любила, и ничего, в чем не было этого тайного жара, я не полю-*

била».

«Люблю до последней возможности... Все женщины делятся на идущих на содержание и на берущих на содержание. Я принадлежу к последним...»

Марина Цветаева для меня Женщина — «просвещенная Кармен, с гениальным поэтическим даром»!

Январь 2013 года

Евгения Кулаковская

Мировая душа эфира

О новом романе Бориса Евсева «Пламенеющий воздух»

Сегодня уже немного осталось в литературе неоткрытых тем. Поэтому писатель, обратившийся к проблеме эфирного существования человека, бесспорно, вызывает живой читательский и исследовательский интерес.

«Пламенеющий воздух. История одной метаморфозы» — так звучит название нового романа Бориса Евсева, культового писателя, занимающего совершенно особую нишу в литературном процессе. Абсолютно каждый роман автора обладает неординарным замыслом, творческой динамикой и концептуальной глубиной.

Проза Евсева — это онтологическая примета нашего времени, художественно-осмысленного бытия.

Писатель включает свое творчество в систему «новейшего русского реализма», где «новейший реализм — это реализм, к которому добавлены элементы сверхреального и сверхчувственного восприятия, а также элементы символистского реализма».

В этом ряду сверхреальных сюжетов как широко известный роман писателя «Отреченные гимны», так и поэтика отдельных рассказов и повестей.

В своем новом романе «Пламенеющий воздух» Борис Евсеев выстраивает и осваивает область, связанную с пятой сущностью, квинтэссенцией, эфиром. Стремление разгадать

значение и роль эфира показано в историческом и метафизическом ключе.

Если обратимся к названию романа, то «Пламенеющий воздух» — это метафора-эмблема огненной природы эфиросферы, которая является призрачной основой мироздания. Главный герой романа Тимофей Мокруша, «литературный негр и марака», приезжает в городок Романов, где по воле рокового случая становится участником подготовки «главного эксперимента» — появления первого эфирного человека.

Действие происходит на старой мельнице, которая является символом вихреобразного, кругового движения эфира. Также здесь работает программа, которая позволяет сделать человека невидимым для окружающих. Это свойство характеризует будущее призрачное состояние человека, если он подвергнется переходу в эфирное состояние.

«Великий переход к эфирному существованию» в тексте реализуется в ряде иноформ, например, «эфирного тела», «эфирного воздуха», «эфирного потока» и других. Поскольку эфир как «мировая душа» и животворящая сила действует во всем, то интересно проанализировать, каким образом материализуется его действие в каждом из этих понятий.

Эфирное тело, по мнению автора, вырабатывается в течение всей жизни. Герои романа интуитивно чувствуют и предполагают, кого может принять эфир, а кого нет. «Вы на Ниточку вашу гляньте! Она же эфирная, светится! Значит, предчувствует дальнейшее эфирное существование. А гляньте вы внимательней на Пенкрата: грязь клокочущая и сажа комковатая у него внутри!»

Итак, получается, что жизнь дана человеку, чтобы внутренне подготовиться к эфирному или Великому переходу из телесного в эфирно-телесное состояние: почти все герои романа пребывают в ожидании перехода к сверхсуществованию.

Кроме того, великий переход или метаморфоза — это еще и метафора всего текста романа, переход от «закрытых» тем к их озвучиванию и глубокому осмыслению, переход от темной составляющей человека к светлой. Например, героям на про-

тяжении всего текста сопутствуют различные и существенные изменения.

Интересна глава «Русский бунт», где происходит перемена внутреннего состояния Тимы-Тимофея, его бунт претерпевает деформацию и видоизменение. Наряду с главными изменениями в герое происходят и менее значимые перемены: трезвость, умеренность в еде, изменения в характере, потеря сна.

Зато появляются желания нового свойства: «Я хочу слышать, как фраза ломает жизнь. Не моя фраза! Фраза, возникающая прямо из Хода Вещей, из плеска эфира».

В дальнейшем автор объясняет причину угасания бунта, как конкретного персонажа, так и всего народа эфирным воздействием. «Из агрессивных их думы и помыслы исподволь превращались в овечьи. И тогда целые народы, не дойдя до намеченной цели, вдруг теряли энергию, останавливались в голой степи или в безводной пустыне».

Таким образом, эфир обладает разумным действием и некоей дальновидностью, способностью понимать и предвосхищать события.

Действие эфира неизбежно. От направления эфирного потока зависит толк и смысл человеческих мыслей, их масштаб. Например, «Наполеон Бонапарт принимал решение идти из Марселя в Париж и опять собирал — на беду себе и Европе — молоденьких маршалов и старых капралов». Иногда эфир выполняет и разрушительную функцию, но всегда осмысленно.

Эфирный ветер иногда входит в обычный ветер, мы его не слышим, но он существует и проявляется в звуке, обновляя действительность, образуя «новую ткань мирового мелоса».

Новой способностью современного человека, с точки зрения интуитивной науки, должна стать возможность видеть материю ветра. «Вы должны научиться видеть ветер. Это как раз и будет вашей основной обязанностью, помимо всяких там замеров и регистраций».

Так, герои видят в воздухе реальные формы эфира. Например, саламандру: «Эфир, шутя, саламандру из своего небесного террариума выпустил, шутя, позволил ей загасить огнен-

ный шар. А потом сам же это женское чудище — и, опять-таки, посмеиваясь, — развеществил».

Таким образом, грань между эфирным и земным бытием, оказывается, очень тонка. Как человек может вырастить эфирное тело, так и эфир способен принимать земные формы. «Анти-эфир — в простонародье анчутка — он ведь разные обличья принимает!»

С точки зрения традиционных теологических представлений эфирная концепция не вступает в противоречие, но обновляет религиозные знания.

«Бог — есть все сущее. А эфир — есть творец реальных форм! И создает он эти формы при помощи реальных дуновений! Эфир и эфирный ветер есть дух мира. Дух мира и любые его дуновения — причина всех физических тел и существ: неба, звезд, человека, зверей и птиц». Все это в целом, по мнению автора, обозначает новые вехи наступающей эры тонкотелесного человека.

Легкая и возвышенная, творческая материя эфира в тексте противостоит тяжести и порокам истеблишмента. Но и оставляет потенциальную возможность для метаморфозы. Например, перехода олигарха Куроцапа в романовскую овцу.

В жизни главного героя Тимы-Тимофея появление концепции эфирного ветра и непосредственного столкновения с воплощенными из эфира телами, приводит к новому пониманию окружающей действительности.

Эфирное существование человека — это содружество духа и материи на ином уровне. «Как запретная, припрятанная, а потом в основном тексте бытия и вовсе опущенная глава романа, манил разбивкой на делянки, ряды и лунки, эфирный мир. Был мир этот материален и страшно приятен на вид!»

Что касается Великого перехода в тексте, то он происходит случайно, а не по плану Главного эксперимента. Выступая посредником между живой и косной материей, эфир обладает такими разумными свойствами, как свобода и творческая энергия.

Поэтому «ловля ветра» и попытки управления эфиром ни к чему не приводят. «Эфир — божье чудо! И в руки даст-

ся только тем, кто захочет присоединить часть населения земли к бесконечно живущим и витающим в пространстве эфирным телам!»

Таким образом, эксперимент — это нарушение воли и творческой свободы эфира.

Первым эфирным человеком становится подросток Рома, казалось бы, случайно попавший под действие эфира. На самом деле, не понимаемый окружающими Рома «беленький», занимающийся выпасом двух овец, противостоит «лживой помрачающей реальности» и оказывается достойным перейти в эфир. Поскольку, техника перехода учитывает, прежде всего, нравственные качества человека.

В романе Бориса Евсеева утверждается новый взгляд на суть земной жизни человека и дальнейшую судьбу его тела, а Великий переход с точки зрения эфира получает совершенно новую интерпретацию: «Ты, человек, поживи на земле, помытарствуй. Залезь во все кротовые норы и многие притоны вонючие посети... Но и, конечно, в святые места съезди... А уж оттуда, из гадких или, наоборот, достойных мест, принеси с собой мысль об эфирном существовании. А затем — стань человеком эфира!»

Таким образом, одна мысль об эфирном существовании позволяет преобразить не только эфирное тело, но и весь окружающий мир.

Гарри Каролинский

**«Я — как археолог, моя задача —
восстановить эпоху...»**

Писатель Гарри Каролинский, проживающий в Америке, своими книгами ставит под сомнение достоверность чуть ли не всей исторической отечественной литературы последнего столетия.

От матери, вернувшейся из сталинских лагерей, он узнал, что назвала она его в честь американского актера эпохи немого кинематографа Гарольда Ллойда, от которого была без ума. Наверное, в этом есть какая-то мистика...

Преуспевающий советский журналист, авторские программы которого на радиостанции «Маяк» имели невероятную популярность в шестидесятые и в начале семидесятых — среди его собеседников были Маршал Советского Союза Георгий Жуков и первый космонавт планеты Юрий Гагарин, — в семьдесят третьем году вынужден был эмигрировать.

Три дня на сборы и высылка.

Поселившись в Нью-Йорке, он вернулся к своей многомиллионной армии поклонников, но уже как сотрудник радиостанций «Свобода» и «Голос Америки».

Его историко-художественное исследование «Последние хозяева Кремля» и исторический роман о Второй мировой войне «Русский ключ» опубликованы и в России.

«Я — КАК АРХЕОЛОГ, МОЯ ЗАДАЧА — ВОССТАНОВИТЬ ЭПОХУ...»

Ныне Гарри Каролинский — это фамилия матери, отца — Табачник, многим он известен и как Гарри Табачник — крупный писатель русского Зарубежья.

А не так давно издательство «Олма» выпустило четыре тома из его шеститомного исторического романа-эпопеи под общим названием «Последний мирный год. 1913».

— Гарри Давыдович, в названии тетралогии ключевое слово «мирный», так ведь?

— Для меня духовное знакомство с тем временем началось с моей бабушки, у которой я воспитывался после ареста родителей в тридцать седьмом—тридцать восьмом годах. Иначе, как мирное, она его не называла.

— Я помню, как мы, школьники, в шестидесятые годы удивлялись, почему все современные достижения народного хозяйства преподносятся в сравнении с тринадцатым годом.

— Иностранная пресса той эпохи, говоря об уровне, которого достигла Россия к тринадцатому году, не скупилась на эпитеты: «экономический взлет», «весна России» «чудо Николая II».

Однажды мне на глаза попалась фотография американского фотокорреспондента, путешествовавшего по России. Я обратил внимание, во что одеты-обуты крестьяне. Все — в яловых сапогах! Я служил в армии, был офицером, солдаты мечтали о яловых сапогах. Им полагались кирзовые. И это сколько лет спустя!

— А как же пресловутые лапти? Их тоже можно видеть на фотографиях...

— Да, были еще и лапти. Но от лаптей уже отходили. По одному этому факту вы можете судить о многом. И сейчас Россия могла бы, безусловно, нисколько не уступать Америке по темпам развития.

Конечно, есть разные мнения на сей счет, но есть факты. Всем, кажется, известно об экспорте зерна — Россия кормила Европу!, — а это, кстати, не только высокие урожаи, а еще и поставка — распределители, железные дороги, посредники. Сколько людей вовлечено было в капиталистический процесс!

О зерне известно, а вот о том, что огромный доход приносила продажа сибирского масла, мало кто знает. По добыче нефти Россия была на втором месте в мире. На первом — Америка.

Для меня лично стало неожиданностью, что по производству электромоторов Россия вышла на шестое место.

Но при этом надо учесть, что развитие России началось позже. Интенсивное развитие — в последней трети XIX века, и особенно при Николае II. У каждого государства свой темп развития. К тринадцатому году Россия достигла определенной стадии, дальше должен был последовать колоссальный рывок.

— *Совершить его помешала «революция, о которой так долго говорили большевики»?*

— О революции говорили и во времена декабристов, и Лермонтов писал: *«Настанет год, России чёрный год, // Когда царей корона упадет...»* Это была идея фикс русской интеллигенции.

Но в начале XX века многих россиян увлекло созидание, а не проповедуемый столько лет призыв к топору. Появилось множество богатых людей. Простолюдины становились миллионерами: Ясинский, Путилов, Стахеев...

В романе «Последний мирный год» я вывожу образ промышленника Кудрина. Он же не граф, не князь, его дед был крестьянином.

В романе действуют как вымышленные персонажи, так и исторические. Среди исторических — Рябушинские. Они тоже из простых крестьян. А Третьяков? А Сабашников, издатель? А Елисеев, Морозов, Мамонтов, Прохоров?

Имя им легион — простым людям, которые сами себя сделали — своим умом, смекалкой, инициативой добились успеха. А во всей нашей литературе вы не найдете положительного образа купца, промышленника.

Не без гордости скажу: у меня такие персонажи есть! Выжимал ли русский капиталист последние соки из рабочих? Чепуха! На международной выставке в Париже прохоровская Трехгорная мануфактура удостоилась золотой медали не за производство, а за заботу о рабочих. Для рабочих были построены родильный дом, детский сад. Рабочие обеспечивались отпусками.

Американский президент Уильям Говард Тафт говорил, что русский император достиг того, чего они, американцы, еще не сумели: обеспечил такое социальное страхование, о котором мы только мечтаем.

Я жил в одном из домов, построенных в Москве для рабочих табачной фабрики «Дукат»: там на первых трех этажах были все удобства, даже ваннные комнаты. Я жил на четвертом, в надстройке, сделанной при советской власти, — для ваннных даже места не было предусмотрено.

Бывший советский премьер Алексей Косыгин, кстати уроженец Петербурга, говорил, что отец его — простой рабочий, жил в квартире из трех комнат, мать не работала и воспитывала троих детей.

Все ли так жили? Не все. А все ли сейчас живут одинаково? Конечно, не все. Но тенденция к лучшему была. Шестьдесят процентов офицерского корпуса являлись выходцами из низших слоев населения. И среди них генералы Корнилов, Деникин, Алексеев.

Отец Ленина, дослужившись до поста инспектора народных училищ Симбирской губернии, получил потомственное дворянство. Со всеми вытекающими привилегиями.

Никому дорога не закрывалась. Система не была направлена на подавление людей.

Никому в голову не могло прийти вести войну с собственным народом.

— И все же: революция, большевики...

— Я не вывожу в своем романе на главные роли Ульянова и всех его немногочисленных сторонников и последовате-

лей. Они и не играли той значительной роли, которую им потом приписывали. Они находились на периферии исторических событий. Жизнь кипела здесь, в России. А они как черти крутились возле жаровни, пытаясь подкидывать головешки.

Полиция все знала. Второй человек в партии, глава фракции в Думе Вацлав Малиновский работал на полицию. Агентами полиции было пронизано все большевицкое подполье. Почвы у большевиков в странс не было.

Более того, Ленин сам писал: увенчайся столыпинская реформа успехом, нам и делать в России нечего было бы.

Я не описываю Октябрьский переворот, который потом уже, чтобы придать грандиозность событию, стали называть революцией по ассоциации с французской.

У меня события разворачиваются в феврале тринадцатого года, когда началось празднование трехсотлетия дома Романовых. И заканчивается первыми выстрелами Первой мировой войны.

Война — тот обвал, который и привел к тому, что мы имеем по сей день. Это грандиозная ошибка, но все мы крепки задним умом.

Русская программа перевооружения должна была завершиться к семнадцатому году. Кайзеру Вильгельму подсказывали: если не начать войну сейчас, то потом — поздно, справиться с Россией будет невозможно.

Немцы также руководствовались поучением военного теоретика Карла фон Клаузевица: «Россия не может быть побеждена, она может быть только взорвана изнутри». Вот они и взрывали ее изнутри.

И японцы, и немцы поняли то, чего не поняла российская царская власть, — что мы вступили в век пропаганды. Пропаганда велась оголтелая. Все газеты субсидировались. Первая смута (*Каролинский имеет в виду первую русскую революцию. — Прим. ред.*) проводилась на японские деньги. Все революционные партии были на японском корму. Пропаганде поддались в основном крестьянские массы.

А когда в Первую мировую крестьянам в солдатских шинелях объявили, что им будет дана земля, так они просто ух-

«Я — КАК АРХЕОЛОГ, МОЯ ЗАДАЧА — ВОССТАНОВИТЬ ЭПОХУ...»

дили с фронта. Все! Со всяким здравомыслием было покончено. Мужу не нужна была никакая власть. Он хотел жить так, как ему хочется.

— *А генералитет?*

— А генералитет готовил заговор. К нему причастны были различные политические деятели. Среди них наиболее активен был бывший глава второй Думы Гучков. С заговором носились и великие князья — те, кого не устраивал Николай Александрович Романов. Прочили в императоры великого князя Николая Николаевича, которого уже в кулуарах называли Николаем III. Против монархии как таковой заговорщики не выступали.

— *И в результате...*

— ...произошел военный переворот. Никакой революции не было. Армия в лице генералов взяла в плен своего Верховного Главнокомандующего и вынудила его подписать отречение.

Целый ряд вещей не поддается логическому объяснению.

— *Вы избрали художественную форму подачи исторического материала. Почему? Строго документальные произведения кажутся более убедительными. Хотя, может быть, и менее привлекательными для широкого круга читателей.*

— Я считаю, что, если я воссоздаю образы людей и заставляю их действовать в исторической обстановке, заставляю их разговаривать языком того времени, одеваться, вести себя так, как следовало вести в то время, я не просто воссоздаю исторические факты, которые сами по себе могут быть и не очень убедительны, а реконструирую эпоху.

Я — как археолог, моя задача — восстановить эпоху и тем самым воздействовать на наше время.

— *Позвольте, я вас процитирую. На встрече в обществе «Мемориал» вы сказали о своем Ленине: «Я в его мозгу не сидел!» И в то же время вы пишете: «думает Николай II». Как вы можете предполагать, что он думает? Реконструировать думы как разговорную речь нельзя.*

— Думы выливаются в звук — в речи. «Я в его мозгу не сидел!» — это в том смысле, что точно сказать не могу, но предполагаю, как и тогда, когда пишу: «думает Николай II».

Данте никогда не был в аду. И даже до чистилища не дошел. И тем не менее он нам дал полную картину ада, чистилища и рая. Откуда он это все знал? Господи! Да потому мы и есть Божии создания, что Бог нас наделил воображением. Вся художественная литература — это воображение. Это то, что автор сумел вообразить на основе факта.

Я, конечно же, по-своему интерпретирую поведение и мышление Николая II. Я представляю, как бы в той или иной ситуации мог повести себя человек. Исходя из того, что я знаю об этом человеке. Он у меня не механик, не инженер, не профессор, не доктор — он император.

Как император, будучи таким человеком по складу ума, каким он был, мог бы повести себя в подобной ситуации? И я нашел такой-то поворот.

Другой человек наверняка мог бы найти совершенно другой поворот. У него другой жизненный опыт, у него другое видение. И он бы сделал другие выводы. И император у него повел бы себя иначе.

Портреты Николая II — Репина, Серова, неизвестного художника — три портрета, и совершенно по-разному показан один и тот же человек.

— *Шесть ваших романов или шесть частей одного романа — получается как бы предыстория к «августу 1914 года». База, на которой можно выстраивать дальнейшие события.*

Вы не обратили внимания, что большинство ваших потенциальных читателей — как в «Мемориале», так и в Российской

«Я — КАК АРХЕОЛОГ, МОЯ ЗАДАЧА — ВОССТАНОВИТЬ ЭПОХУ...»

национальной библиотеке — не останавливались на тринадцатом годе, а интересовались дальнейшим?

— Я квалифицирую это, мягко говоря, как их незнание истории своей собственной страны. Здесь это болезнь. Я на протяжении нескольких приездов сталкиваюсь с тем, что люди скользят по поверхности, не хотят проникнуть вглубь. По целому ряду причин.

Или у них нет времени, или они как русские — увлекающиеся натуры, подхваченные моментом, — загораются, а через некоторое время остывают и забывают.

Нечего плакать и рыдать о России. Надо знать Россию. Тогда ты будешь знать, о чем плакать. А то причитают: вот распался Советский Союз! Да не беда, что распался. Слава Богу, что распался.

Плакать надо, что распалась Российская империя. А почему о ней не плачут? Да потому, что не знают ее! «Ах, Советский Союз! Ах, Советский Союз!». Ужас — Советский Союз! Лубянка народов! А Российская империя давала жить всем.

Сейчас уже входит в моду гордиться успехами России Николая II. Так пусть мне объяснят: как можно гордиться успехами царской России и держать в мавзолее чучело того, кто ее разрушил? Кем выдумана такая логика? Воспевается все еще то, чего нормальному человеку следует стыдиться.

Как можно ходить по улицам с именами палачей, мимо памятников им? Их имена нужно выжечь из коллективной памяти народа, пеплом пустить на ветер. Где проспект Николая I, площадь Белых Рыцарей Крыма, которые, зная, что обречены, сражались, сохраняя свою и нашу честь?

Я говорю так: можно простить незнание — нельзя простить нежелание знать! Пока россияне не начнут серьезно интересоваться историей своей страны, ничего сдвинуться не может.

Сейчас упор делается на экономику. Это важно, никто не спорит. Человек живет хлебом. Но не хлебом же единым! Важно, что упускается духовный климат страны. А в России, которую я воссоздаю, он был таким, что в нем просто невоз-

можно было себе представить того, что творилось потом советской властью.

Я не устаю подчеркивать, что любой человек в царской России был неприкосновенен. Никого нельзя было арестовать без суда — ворваться ночью, перевернуть все вверх дном, в присутствии жены, детей, распороть подушки, матрасы... И человек исчез! Это было невысказано.

Живи та Россия дальше — ни мой отец, ни моя мать не были бы арестованы. В девятнадцать лет мать посадили в тюрьму, отца я вообще не помню. Его арестовали, потом отправили на фронт. Погиб он под Старой Руссой в январе сорок четвертого года, я храню его фронтовые «треугольники».

Да, случались, конечно, и при царе эксцессы, но они всюду есть. И всегда будут.

— Гарри Давыдович, я слушал вас и пришел к выводу: государь император, по сути, почти построил то социалистическое общество, которое семьдесят лет безуспешно пытались построить большевики. В самом ли деле российский народ был на грани всеобщего благоденствия?

— Я надеюсь, «социалистическое» у вас в кавычках. Все ответы на ваши вопросы — на страницах моих книг. Вы говорите: а действительно ли построил? Да он ничего не строил! В том-то и дело, что не надо ничего строить! В обществе должен быть создан благоприятный «для строительства» климат.

Вот я приехал в Америку. Для меня там кто-то что-то «строил»? Я должен был выжить в Америке. Мне никто не помогал. Нам с женой приходилось работать по восемнадцать часов в сутки.

Мы ездили по русским и другим предместьям и продавали страховку, о которой я знал столько же, сколько вы знаете о жизни в звездной системе Альфа Центавра. А может быть, еще меньше. Мы чуть ли не ночевали в машине.

Кто мне строил жизнь? Я ее сам и строил. Видимо, за годы советской власти во мне все-таки не убили унаследованный мной генетический код инициативы. И не только во мне

«Я — КАК АРХЕОЛОГ, МОЯ ЗАДАЧА — ВОССТАНОВИТЬ ЭПОХУ...»

одном. Таких людей в России много. Если создать благоприятные условия, то человек, предоставленный себе, когда ему не мешают...

— Понимаете ли вы, что своими книгами всю нашу историческую науку последнего столетия ставите под сомнение?

— Вы совершенно точно сформулировали: я и хочу сказать, что все подавалось искаженно. Все подавалось в расчете на то, что у человека настолько произошло отупление мозгов, что он даже очевидное пропустит мимо сознания, не задумываясь.

Ну, например, выступает Сталин на каком-то, на XVII, кажется, съезде: у нас не было танковой промышленности, теперь она есть. Так ведь и не могло быть! Это все равно, что говорить, что не было в России компьютеров.

Шумели на весь мир: в Советском Союзе вот такие-то достижения — эта стройка, та стройка. А сколько в фундамент этих строек заложено костей человеческих?! Об этом надо знать ныне живущим в «стране строек».

Мы должны об этом говорить, напоминать. «Комсомольцы-добровольцы» на строительстве Московского метрополитена — это трюк, придуманный Ягодой, — назвать заключенных комсомольцами. Никаких комсомольцев там не было. Так же и на Беломорканале, и на других стройках. Это труд рабов.

Я не за то, чтобы сейчас устраивать какое-то судилище, кого-то вешать, кого-то расстреливать. Давайте наконец-то просто во всем разберемся. Не ждать указаний свыше, не держать нос по ветру. Своя совесть и есть указание свыше.

В себе надо разобраться, найти время остаться наедине с самим собой и самому обдумать, вспомнить своих матерей, отцов и дедов.

Нет в России семьи, не пострадавшей от большевиков. Последствия их хуже татарского ига во много раз. Должен быть суд совести и памяти. Пока этого не произойдет, жизнь нормальной не будет.

— На сайте издательства «Олма» есть трогательные, вдумчивые отзывы на «Последний мирный год». А какова реакция профессиональных историков?

— Российские профессиональные историки пока молчат. Реакция выдающегося американского историка Ричарда Пайпса после прочтения первой части романа: блестяще написано, все соответствует действительности.

Беседовал Владимир Желтов

Коротко об авторах

Ванечкова Галина Борисовна родилась в 1930 году в городе Свердловске (Екатеринбурге).

В 1953 году, получив высшее педагогическое образование, работала преподавателем русской литературы и языка в средней школе.

В 1954 уехала в Чехословакию к мужу Мирко Ванечку, окончившему в Советском Союзе горный институт.

В Чехословакии преподавала русский язык в Высшей школе русского языка и в Университете имени Карла IV.

Творчеством Марины Цветаевой занимается с 1961 года, написав несколько статей и принимая участие в издании книг.

Среди них: «Марина Цветаева и Прага», «Поэзия, символ, перевод», «Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в Чехии», «Письма к Анне Тесковой» и другие.

Основала в Праге в 2001 году «Общество Марины Цветаевой», по инициативе которого были установлены две памятные доски поэту — в Праге и во Вшенорох; открыт «Центр Марины Цветаевой» с постоянной выставкой о ее жизни и творчестве, а также доска в память Райнеру Мария Рильке.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Вышеславский Леонид Николаевич родился в городе Николаеве в 1914 году.

Известный русский поэт Украины. Автор более сорока поэтических сборников, первый из которых увидел свет в 1938 году.

«Избранные» — стихотворный однотомник, вышел из печати в Москве, двухтомник — в Киеве.

В ГРАНЯХ (№ 200) опубликован его материал «Сны поэзии живой», а в № 203 поэтический цикл «И я поныне жадно пью былое...»

Е в с е е в Борис Тимофеевич родился в 1951 году в Херсоне.

Профессиональный музыкант. В 1971 году окончил Херсонское музыкальное училище по классу скрипки. С 1971 по 1974 учился в Институте им. Гнесиных. В 1995 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького.

Уже в двухтысячные годы получил диплом журналиста. Работал в «Литературной газете», «Книжном обозрении», главным редактором в издательстве «Хроникер».

Автор нескольких сборников стихов, а также книг прозы: «Баран», «Отреченные гимны», «Власть собачья», «Русские композиторы», «Узкая лента жизни», «Романчик», «Площадь Революции», «Чайковский» и другие.

Лауреат Бунинской и Горьковской литературных премий; премии «Венец», Национальной Артийской, «Нового журнала» (США), журналов «Октябрь», «Литературная учеба», Фонда «Русское исполнительское искусство». Финалист «Русского Букера».

Переводился на английский, арабский, голландский, немецкий, литовский, польский, турецкий, эстонский и другие языки.

Профессор Института журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ, Москва), руководит мастерской прозы.

Им прочитаны курсы лекций: «Русский роман XIX и XX веков», «Русская сентиментальная и романтическая повесть XIX века», «Русский рассказ XX века», «Композиция в художественной прозе», «Современный русский рассказ».

Член Исполкома Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы и Союза российских писателей.

В ГРАНЯХ в № 245 напечатан материал Б. Е. «Личины и лик государства», в № 246 рассказы: «Русское капричко» и «Ехал на Птичку Иван Раскоряк...»

Ку л а к о в с к а я Евгения Ивановна. Родилась в Алтайском крае в 1988 году.

Живет в городе Барнауле.

Аспирант Алтайской государственной педагогической Академии.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

М а н с у р о в Борис Мансурович родился в городе Самарканде.

Учился в школе имени Пушкина, в которой в годы войны преподавали учителя, эвакуированные из блокадного Ленинграда.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Закончил Московский энергетический институт.

По образованию — микроэлектронщик. Кандидат технических наук.

В октябре 1988 года познакомился с О. В. Ивинской — последней любовью Пастернака. Ему посчастливилось в 1992 году издать впервые на русском языке ее книгу «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком», вышедшую в Париже в 1978.

В 1999 в содружестве с детьми Ольги Ивинской — Ириной Емельяновой и Дмитрием Виноградовым осуществил издание ее избранных стихотворений «Земли раскрытое окно».

Статьи о Борисе Пастернаке и Марине Цветаевой публиковались в журнале «Большой Вашингтон» (США), в газете «Русская мысль» (Франция) и других.

В ГРАНЯХ в № 195 опубликован материал Б. М. «Последняя любовь в поэзии Пастернака».

Мокеева Мария Олеговна родилась в городе Хотьково (Подмосковье) в 1993 году.

Некоторое время училась в Литературном институте. В настоящее время студентка Института журналистики и литературного творчества.

Публиковалась как литературный обозреватель в «Независимой газете», «Литературной газете», «Литературной России», в журналах «Дети Ра» и «Свободный доступ».

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Николаев Геннадий Философович — писатель-реалист, фантаст, публицист.

Родился в 1932 году в городе Новокузнецке Кемеровской области в семье служащих. Детство и школьные годы, совпавшие с войной, прошли в Новосибирске.

В 1956 году окончил физико-технический факультет Томского политехнического института. Десять лет работал в атомной промышленности. Участвовал в проектировании институтов Ядерной физики и Неорганической химии Сибирского Отделения АН СССР; в ликвидации аварий на п. я. 10 в Усть-Каменогорске.

С 1959 по 1966 годы работал на комбинате п. я. 79 в городе Ангарске. Неоднократно попадал в зоны повышенной радиации и «газовок», спасали товарищи по работе.

С 1966 по 1969 годы — начальник лаборатории в Иркутском филиале Всесоюзного алюминиево-магниевого института.

С 1970 по 1973 годы — редактор иркутского альманаха «Сибирь».

В 1973 году переехал в Ленинград. После окончания Высших литературных курсов с 1975 года работал в ленинградском журнале «Звезда» в отделе прозы, затем заместителем главного редактора, а с 1988 по 1992 годы главным редактором впервые был избран на этот пост писательской организацией в порядке открытого конкурса.

Участник международных конгрессов: Первого (1990) и Второго (1993) антиядерных в Алма-Ате, «Сталинизм сегодня» (1990) в Зальцбурге и Первого Сахаровского (1991) в Москве.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Русского ПЕН-клуба, редколлегии журнала «Звезда». Номинант премии «Русский Букер — 2002» за роман «Вещие сны тихого психа».

Всего на русском языке издано пятнадцать книг, среди них: «Плеть о двух концах», «Лесная подстанция», «День милосердия», «Зона для гениев», «Мой многоликий атом» и другие.

Печатался в альманахах «Ангара», «Сибирь», в журналах «Сибирские огни», «Смена», «Звезда», «Нева», «День и ночь», «Природа», «Партнер».

Автор воспоминаний — об Александре Вампилове, Дмитрие Сергееве, Марке Сергееве, Сергее Иоффе, Викторе Астафьеве, Владимире Тендрякове, Андрее Сахарове, друзьях и коллегах по совместной работе в атомной промышленности и в «Звезде».

Переводился на болгарский, венгерский, монгольский, немецкий, французский языки.

С 1999 года живет в Дортмунде (Германия).

В ГРАНЯХ в № 273 опубликован его материал «Кольца удава или Зерна оптимизма на полях пессимизма», в № 240 — «Встреча с АДС».

Хетагуров Алексей Николаевич родился в Москве в 1940 году.

Закончил исторический факультет Московского Государственного Университета имени Ломоносова, почти сорок лет проработал в Историческом музее реставратором темперной живописи.

Художник-пейзажист, участник персональных и коллективных выставок. Многие его работы находятся в частных коллекциях в разных странах.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

*Читайте
в следующем номере:*

Александр ИВАНЧЕНКО
Освобождение Толстого

Елизавета ПАРШИНА
Разведка без мифов

Лидия ГОЛОВКОВА
Храм для безбожника

Глеб ВАСИЛЬЕВ:
«...Я ваш, больше, чем с небо!»

Стихи участников
Пражского литературного фестиваля
Заманчивое предложение Йозефа Швейка

и другие материалы

ОБРАЩЕНИЕ

Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,
Америки, Азии и Австралии

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров — порой с риском для жизни тех, кто это делал, — пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои — увы! — часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т.д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРА-НЕЙ – знак качества высшей пробы. Этим людям не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышащие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2014 году от Р.Х.

За 2013 год вышли №№ 245, 246, 247 и 248, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER–SUR–MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

grani.08@mail.ru

Принимаем заявки на подписку 2014 и 2015 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

Ассоциация «ГРАНИ»
L'association «GRANI»
De l'association n°751170197
Paris

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Компьютерная верстка — Мария Гольдман

Подписано в печать 29.08.2013. Формат 84 × 108 ¹/₃₂.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 10.

Тираж 150. Заказ №

Отпечатано в ООО «МЕДИА-ГРАНД»
152900 Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 7.

Journal «Grani»

Журнал ГРАНИ – 2014
№ 249, № 250, № 251, № 252

Для оформления подписки,
писем и сообщений:

GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE

Представители:

- | | |
|---------|---|
| РОССИЯ | T. Zhilkina
17, Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru |
| АМЕРИКА | K. Troosh
600 Fifth Ave
San-Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com |
| ФРАНЦИЯ | N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57 |

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

**Легко и радостно жить тому,
кто ищет в других хорошее,
ищет и находит.**

**Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить
светлые г р а н и души. Но для этого
он прежде всего в самом себе
должен раскрыть их, должен стремиться
к совершенствованию.**

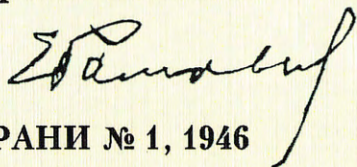
**Каждый человек –
часть органического целого, человечества.
Совершенствуется часть –
совершенствуется целое.**

**Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству
стать на тот же путь.**

**А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.**

**В свете этого большая
и ответственная задача
стоит перед теми, кто служит Слову, –
Слову Правды.**

**Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.**



ГРАНИ № 1, 1946